



Дизайн автора

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

...Я летел вслед за солнцем, утро растянулось на полсуток – оно было и в ирландском аэропорту Шеннон, и в Гандоре на суровом канадском острове Ньюфаундленд, напоминавшем кольскую лесотундру, нас утро встречало прохладой и в Нью-Йорке, который, ворочаясь в разные стороны, долго протекал под крылом в обрамлении вод и полузатопленных островов. Позвоночник мой пел только об одном – о горизонтальном положении, но впереди маячили четыре часа в аэропорту Кеннеди, плюс еще целых пять часов лета до Лос-Анджелеса. Сквозь сон и морок я запомнил лишь букет девиц не первой свежести с тележками, чемоданами и муаровыми лентами через плечо: «Мисс Каролина», «Мисс Нью-Гэмпшир», «Мисс Южная Дакота», к которым вскоре присоединилась «Мисс Кентукки», да бомжа у бара на втором этаже, с отвращением поедавшего гамбургер. Не снимая лент, будто они могли пригодиться, девицы гарцующей походкой навещали туалет, а бродяга, создав вокруг себя десятиметровую зону отчуждения, клеймил род людской.

Взлетев в дымке раннего осеннего заката, я снова припустил за солнцем, но поздно – следом летела тьма. Затем уши заложило, двигатели запели, как трубы под сурдинку, и внизу от края и до края земли засверкали золотые россыпи Лос-Анджелеса.

«Здравствуй», – сказала встречавшая меня Патриция, и я в порыве благодарности поцеловал ее увядшую щеку. Ее круглые запавшие глаза вопрошали – правильно ли, что мы встретились вновь. Конечно, правильно, Триша! Ты даже не можешь себе представить, насколько это правильно. Я вел тебя как Господь Бог по грани невозможного, и оно свершилось.

Через полчаса, миновав сказочный световой замок из небоскребов, мы въехали в сонное двухэтажное предместье. Фары уперлись в деревянную пристройку, мотор заглох, свет погас и, выбравшись из тесной малолитражки, признаюсь, сильно скособочившей мою американскую мечту, я вдохнул запах юга – теплый, томно-горьковатый, обещающий.

Патриша нашарила под передним сидением фонарь:

– Я хочу тебе показать енотов. Они приходят к нам по ночам.

Жиденький луч мазнул по стволам деревьев и за одним из них, как в учебнике зоологии нарисовалась маленькая морда енота. Выглядел он удивленно, словно не ожидал меня здесь увидеть.

Патриша тихо засмеялась:

– Я сделала им кормушку, но они предпочитают помойные бачки.

В ту первую калифорнийскую ночь мне приснился какой-то кошмар, будто самолет так и не сел, а полетел дальше, через Тихий океан, снова к России, уже с другой стороны, и я метался и умолял кого-то, чтобы меня выпустили, дали спрыгнуть с парашютом – ведь у меня билет только до Лос-Анджелеса. В страхе, облитый потом, с бешено колотящимся сердцем я очнулся в темноте и долго озирался, прислушиваясь.

Кто бывал в Калифорнии, тот меня поймет. Кто не бывал – тем паче. Короче, я решил остаться. Вцепиться зубами в кромку тихоокеанского побережья и не разжимать челюстей. Под опахалами пальм. Под легким ветерком, веющим с Гавайских островов. Под созвездием Ориона, похожим на лук с тремя стрелами. Я выпустил все три – и одна из них упала у лап моей лягушонки Патриши. Хотя она явно не заколдованная царевна. Но лиха беда начало. Надо закрепиться на завоеванном плацдарме. Все равно позади – ничего. Прощай, немытая Россия. Нет больше России, господа. Мы просрали Россию. И жизнь свою дешевую журналистскую я просрал. Там, в баллончике с синей пастой, среди сбитых клавиш «Олимпиады», в мегабайтах «Пентиума» затерян мой маленький никчемный талант. И писать о том, как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем я больше не хочу. Слово уважалось лишь до тех пор, пока за него могли вырвать язык. Слово умерло, господа.

Теперь я живу на Четыре Пэ и три Дэ: у Патриши в Пасадене на Палмстрит на Первом этаже Деревянного Двухэтажного Домишки. У меня есть раскладушка, застиранное одеяло, табуретка и три крючка на вешалке. Я занимаю одну из комнат студии. Каждый вечер я, как цапля, задираю ноги, чтобы добраться до своей постели не раздавив застывающие на полу кашки детской фантазии. В студии пахнет глиной, пластилином, гуашью, пылью цветных мелков и воздушной кукурузой из огромной пустой кастрюли. К началу занятий ее ставят на газовую плиту, и начинается процесс. Кукуруза взбухает, стонет и лопается с оглушительным треском, распугивая до сих пор не сосчитанных мною котов Патриши. Похоже, во время этого кукурузного извержения кастрюля испытывает оргазм. Похоже, что Патриша завидует кастрюле и выжидающе косится на меня. А я смотрю в окно.

Вообще-то она старше меня лишь лет на десять. Но плохо сохранилась. На лягушонку совсем не похожа, скорее – на тощую мосластую корову рыжей масти. Или на травоядного динозавра. Смеясь, она демонстрирует два ряда траченных временем, но еще мощных резцов. Выше меня, а я не маленький. Мой вынужденный пуританизм делает наши отношения все экзотичней. Чем-то это кончится?

Патриша – семидесятница. Это значит, что она не признает капитализм, ненавидит богатых, любит поговорить о душе и верит в справедливое общество. Россия – ее последняя надежда. В моем лице. Но разве не стыдно за Россию, господа? Страна рабов, страна господ. Однако я ей этого не говорю. Я поддакиваю. В глубине души я верю в Америку. В лице какой-нибудь богатой телки. Миллионерши. Из тех, что привозят в студию к Патриции своих разболтанных отпрысков. На «бьюиках» и «фордах». А потом увозят, даже не взглянув в мою сторону. Ничего. Я терпелив.

* * *

С Патришей мы познакомились год назад под Петербургом в Лосево, куда она привезла в летний лагерь американских школьников из своей студии. Мэрия взяла на себя часть забот, и на открытие лагеря позвали журналистов. Я тоже приехал. И завис. То ли давно не был в сосновом лесу, не купался в чистом озере, то ли забыто взбудоражил английский язык – в университетские годы я подрабатывал переводчиком в молодежном «Спутнике» на Чапыгина. Брандмауэр дома справа от гостиницы украшала монументальная туфта на тему дружбы народов, и помню скандал, учиненный главой нигерийской делегации, насчитавшей в ступне негритянки на стене шесть пальцев. Глава этот уже успел так меня достать своими капризами, что я брякнул: «А сколько должно быть?» Это был мой последний день в «Спутнике».

Я приезжал в Лосево после работы, мы сидели в домике на краю лагеря – Патриция с ее американской коллегой Ширли Русако, Марина Тарло, молодая педагогическая фанатка, и я.

Говорила в основном Тарло – Триша и Ширли восторженно ей внимали. Речь шла о создании в Апраксином дворе огромного культурного центра, единственного в своем роде, где лучшие педагоги всех времен и народов будут давать детям лучшие в мире уроки. Уроки чего? А всего. Живописи, музыки, литературы, языков, уроки возрождения забытых ремесел, разного там плетения, тиснения, вышивания... Все будут жить и творить вместе, в городе мастеров, и главной над ними, в хрустальной башне на троне из резной моржовой кости будет восседать она, Марина Тарло, в обнимку с Патришей и Ширли.

Ведь все они незамужние, – вдруг подумал я тогда. И вздрогнул от неясного сполоха на горизонте собственной судьбы.

Сдержанно, но тепло написав об этой чистой шизе, я не промахнулся. И вот я здесь. Богатая, по словам Патриши, детская писательница и художница Ширли Русако, успешно культивирующая свои русские корни, жила в Сан-Франциско и, незаметно снимая клок котячьей шерсти с липкой кофейной кружки, я подумал, что хорошо бы перебраться к ней.

* * *

Утром меня будят длинные свисточки неизвестных мне пернатых. Выстуженный за ночь воздух холодит щеки. Я встаю, потянув за веревку, поднимаю ширму. За окном – подсвеченный солнцем туман. Толстые кожистые листья кустов, дальше – огромная, как ветряная мельница, пальма, деревья вдоль улицы с неопавшей оранжево-красной листвой, домики-пряники на той стороне, а еще дальше – над верхушками деревьев – серебристый баллон водонапорной башни на металлических консолях с надписью «South Pasadena».

В отсутствие мужчины, на роль которого я, видимо, и приглашен, Патриша отдает свою любовь котам. Я завтракаю вместе с ними. Коты приветливо расхаживают по накрытому столу, стараясь обмахнуть мне лицо хвостом, как своему.

– Чудные котики, правда же? – улыбается Патриция, кладя передо мной на салфетку, по которой только что прошелся котяра, тост с ломтем обезжиренной ветчины. – Ты любишь котов?

– Угу, – жуя, говорю я неправду.

– Бедные котики тоже хотят ветчины, – сделав губы трубочкой, поет Патриция, наблюдая котячье оживление. Еще пара котов намеревается присоединиться к нам, высматривая для прыжка свободное пространство между тарелками.

К полудню туман растаял, и солнце засияло таким пронзительным блеском, что закололо в глазах. Кто-то царапнул по стене за окном и на подоконник вспрыгнул один из моих новых знакомцев. Посмотрев на меня и не узнав, он осторожно подошел к заправленной мной по-солдатски раскладушке и неуверенно лег в полосе солнечного тепла. Это был не Лео, названный Патрицией в честь Толстого, и не Махатма – в честь Ганди. Скорее всего – Мацушима, в чью же честь?

День у нас ушел на покупку и установку нового колеса для нашей малолитражной, семьдесят девятого года, «хонды». На одной окраине Пасадены, лишенной растительности и состоящей из магазинов, заборов складов и мастерских, мы купили обод, на другой – покрышку, на третьей нам все это соединили и поставили на место. За все про все тридцать девять долларов. Good deal! Патриция была довольна.

Она занимала нижнюю кромку, отделяющую средний класс от бедноты. Я стал вписываться в психологию ее бюджета. С собой у меня было всего лишь триста. От Нью-Йорка до Лос-Анджелеса я летел уже за ее счет.

На обратном пути на сэкономленные деньги мы поели в «Макдональдсе». Вылезать не требовалось – тут был и колесный вариант. Подъехал к розовой стене, сказал во встроенный микрофон, чего тебе надобно, у другой стены заплатил негритянке-кассирше, у третьей получил свои коробочки, картонные стаканы, пакетики и отрулил на автостоянку, где в тесной кабине можно было ронять и лить их содержимое прямо себе на штаны...

Вокруг была пригожая одно-, ну, двухэтажная, Америка, сложенная из цветных кубиков. Чисто, светло, все тебе улыбаются.

– О, Петя, – сказала Патриция вечером, когда солнце зашло и птицы на деревьях уgomонились. – У меня пустой холодильник. Давай пообедаем в ресторане. Я знаю хороший

тайландский ресторан. Там недорого и очень вкусно. Только не говори «нет», Петъя, – голос, как у диснеевской Белоснежки.

Какая деликатность! Патриция давала понять, что мне это ничего не будет стоить. Помню выражение ее лица, когда она услышала, сколько у меня наличности. В следующее мгновение она, как истая семидесятница, справилась с собой, и теперь – человек крайностей – шарахнулась в другую сторону.

– О'кей, – сказал я, поменял шорты на брюки и вышел к Патриции.

Она чуть навела макияж на свое лицо, усталое от сопротивления жизни, вечно идущей куда-то не туда, и я подумал, что в юности она была не лишена привлекательности.

– Надень куртку, – сказала она. – Потом будет холодно.

Между нами намечалось легкое необременительное партнерство. Все-таки у нас была одна духовная среда. И я совсем не возражал, чтобы Триша мне понравилась как женщина. Кажется, у меня еще не было пятидесятилетних. Почему бы не попробовать? Каковы они в любви? Судя по классике – сумасшедшие. Не помнят себя. Готовы все отдать. Нет, надо ехать к Ширли Русако... Бешено глупы и ревнивы. Но все простят ради полноценного коитуса. Впрочем, что-то такое уже было. Лет десять назад, в спальном вагоне скорого поезда «Ленинград-Москва». Она была профсоюзным боссом городского масштаба и ехала в столицу на пленум. А я был слегка пьян. В темноте купе, слыша, как она устраивается своим большим телом между чистых жестковатых простыней, я попросил у нее таблетку от головной боли, а затем встал и пересел на ее постель.

– А если я закричу? – спросила она, скорее – саму себя.

В платье она мне нравилась больше. Грудь у нее были как глыбы, и вся она была тяжела, как из камня. Но по-бабьи податлива и послушна. «Какой наглец!» – говорила без осуждения. И мужа вспоминала: «Он как чувствовал – не хотел меня отпускать». Ему она еще не изменяла. Сдуру я оставил ей свой телефон и потом она все звонила, хотела встретиться. Господи, упокой ее душу.

...Машина наша порыскала в красивой разноцветной тьме и вынырнула к освещенному аквариуму, в котором среди прочего был и тайский ресторан. Внутри было пусто, тихо и играла тайская музыка. Вышла девушка и предложила нам столик на двоих – в узком стеклянном простенке. Девушка была очень красива – тонкие азиатские черты, отточенные тысячелетиями культуры. Нет, мне все-таки гораздо ближе молодые.

Патриция тоже любила Азию. Ее последний муж был японцем. Японцы, на ее взгляд, самые красивые мужчины. И японки, конечно, поддержала она меня, но я вовремя остановился и не стал развивать эту тему. Прекрасная тайка принесла нам креветки в ананасовом соусе, рис и овощи. Лишь вино мы выбрали европейское – пятилетнее шабли. Патриция бывала во Франции и знала толк в вине. Так мы и пировали, тихо и проникновенно, два близких человека с разных концов земли, потому что больше не с кем поговорить...

– О, Петъя, я должна сказать тебе одну тайну...

Мои мозги, разрыхленные одиннадцатичасовой разницей во времени и легко впитывавшие хмель, решили, что сейчас последует признание в любви.

– Я собираюсь отсюда уезжать...

– Как, куда? – не уверен, что мне удалось скрыть испуг. А что со мной? Я даже протрезвел.

– В Орегон. Я собираюсь в Орегон. Там моя родина. Там влажный климат, леса, как у тебя в Петербурге. Я не могу здесь дышать. Моим легким не хватает воздуха.

– Что ты будешь там делать?

– Что и здесь – преподавать. Куплю наконец дом. Я скопила денег, двенадцать тысяч... Это, конечно, немного, но можно что-нибудь подыскать.

– И когда?

– Через месяц. Ты поедешь со мной?

– Конечно, – сказал я. Разве она не понимала, что без нее я – никуда.

– О, это так прекрасно! – захлопала она в ладоши. Глаза ее лучились добром и мечтой. – Мы встретим там Рождество. Там будет снег, представляешь? Настоящий снег! И дождь. О, как я люблю дождь!

Женись на ней, подумал я. И представил себе медовый месяц в петербургской слякоти Орегона... Если бы она сказала, что перебирается на Гавайи, наверно, я бы все-таки женился. Триша давала бы детям аборигенов уроки рисования, а я бы мыл кисти и отковыривал бы от ванны присохшие комочки глины. Чтобы она не слишком докучала мне в постели, я бы оставлял ей слепок своего восставшего фаллоса, а настоящий дарил бы прекрасным аборигенкам – на берегу океана, под кокосовой пальмой.

Это был наш лучший вечер. И домой мы вернулись в самом романтическом расположении духа.

– Спокойной ночи, – сказала мне Триша и пошла к себе, как девочка, низко опустив голову, словно боялась, что я прочту в ее лице то, что там было написано. Я лег, закинул за голову руки и взвесил обстоятельства. Она ждала меня там, в темноте, замерев в своей каморке, закусив крупными резцами краешек простыни или сложив руки лодочкой между бледных чресел, нагревающихся медленно, как старая электроплитка. Я войду и мы сварим постный супчик из сорго и еще какой-то хреноты, которую она покупает для себя в диетическом магазине. Она длиннее своей кровати и спит с торчащими вверх коленками – как кузнечик. Я вздрогнул и лег на бок, свернувшись эмбрионным калачиком. Эх, мало мы выпили. Еще бы бутылки две – и жизнь моя могла бы пойти совсем по другому руслу.

Рано поутру кто-то стучался в мой сон тяжелой поступью, поливал из водопроводного крана, терзал тяжелым роком, и я решил, что это и есть сестра Патриции Каролина, явление которой сегодня и обещалось, но это была наша соседка сверху, спозаранку уезжавшая преподавать в школу для черных.

В эту ночь, как сказала мне за завтраком Патриция, соседка принимала у себя наверху сразу двух любовников. Патриция осуждающе хмыкнула, но в ее осторожном взгляде в мою сторону плескался затаенный укор, впрочем, как американский кофе с молоком в ее чашке, – без кофеина. Я уже заметил, что с мужчинами она держится неуверенно. Пока же я еще не вылез из постели и слушал, как просыпаются соседи нашего околотка, одна за другой заводятся машины, фырчат, прогреваясь, моторы, едкий выхлопной дымок втягивается в мое занавешенное черной парусиной окошко, и я, как диспетчерша автопарка, отмечал в книге сна хлопанье дверц и отъезд каждой из машин.

Наконец все отбыли, но сцена не опустела – на ней уже вовсю гремел хор горластых калифорнийских пернатых. Часам к девяти к нему добавился металлический стрекот – это газонокосилки принялись косить траву, затем включился аэродромный вой ручных воздуходувов, которыми газонокосильщики сгоняли траву в кучи... Тихие американцы любили шум.

* * *

Каролина приехала только под вечер. Она восседала на кухне, как Статуя Свободы, если бы той случилось опуститься в кресло, и приветствовала меня высоко поднятым узким, как факел, стаканом с апельсиновым соком. Она была роскошно седовласа, с ослепительной, скорее всего пластмассовой, улыбкой и абсолютно не похожа на Патрицию. Патриция ругала, Каролина хвалила, Патриция обвиняла, Каролина защищала, Патриция чудила и не знала меры, Каролина

была палатой мер и весов, Патрицию терзали эсхатологические предчувствия, Каролина же упивалась благостью мира. Мое явление в Новом свете на Палм Стрит было, конечно, причудой младшей неразумной сестрицы, но в благом мире каждый мог найти себе теплое местечко, и Каролина отнеслась ко мне снисходительно. Прослышав, что я журналист, она, тоже когда-то работавшая в газетенке, перешла на язык первополосной редакторской колонки, считая своим долгом в пику сестре напиговать меня положительными примерами американского образа жизни.

У нее была замечательная черта: спросив, она тут же прерывала тебя и начинала отвечать сама. Я восхищенно кивал в сонном отпаде – мозги мои отключались уже на второй ее фразе.

Жила она у своих друзей в богатых окрестностях Лос-Анджелеса, на берегу океана, в часе езды отсюда, и дважды в неделю оставалась на ночь у Патриции – близко от работы, к тому же вечером скоростная трасса перегружена. На дворе к серой мышке нашей «хонды» присоединился темно-коричневый эклер «тойоты».

Перед сном я вытащил из «тойоты» раскладушку Кэррол с полиэтиленовым матрасом и поставил ее в большой комнате студии. Раскладушка была точно такая же, как у меня. Каролина внесла следом тюк с одеялом, подушкой и простынями. Ее королевская прическа слегка съехала набок.

Когда я проснулся, «тойоты» во дворе уже не было.

– Представляешь, – одной рукой держа на отлете кружку кофе, другой прижимая к груди Махатму, улыбнулась мне из кресла Патриция, – представляешь, сестра мне говорит: «Кажется, я не понравилась Петъя». Для нее это так важно – нравиться. Это часть ее мировоззрения, – во взгляде Триши была просьба о снисхождении к недостаткам ее бедной Каролины.

– Да что ты! – с поспешной горячностью возразил я, услышав отдаленный гром приговора самому себе. Кто я такой, чтобы иметь свое мнение, человек ниоткуда, беспомощный как кутенок, без прошлого, без будущего и даже без настоящего, в котором мне оставалась только любовь к ближним, дабы прожить на крохи ответного чувства. Никогда еще во мне не было такой готовности любить – пусть даже этих премерзких котов, лишь бы один из них сделал меня своим протеже.

– Да что ты! Как она может мне не понравиться?! Вы же сестры. Очень понравилась. Просто вы разные, и твой тип мне ближе. Потому что совпадает с моим. Вы даже внешне непохожи.

Вроде бы я прозвучал убедительно. Потому что Патриция посерьезнела:

– Угу, непохожи. Но в главном мы похожи. У нас было ужасное детство. Просто страшное.

– Почему? – помолчав, осмелился я спросить, чувствуя, что Патриция хочет продолжить.

– Почему? Я сама себя много об этом спрашивала. Только став взрослой, я осознала, в каком кошмаре мы жили. Думаю, что наши родители, особенно мать, хотели избавиться от нас. Мы им мешали. Мы создавали им проблемы. Родительские проблемы. Мы требовали внимания, отрывали от дел. У них не было на нас времени. Они были богатыми, и мы мешали им стать еще богаче. Вместо того, чтобы делать деньги, они должны были тратить их на нас. Хотя они были очень скупыми. Помню взгляд матери. До сих пор мурашки по спине. По-моему, она мечтала нас убить. Но боялась, что узнают. И тогда придется платить адвокатам.

Я молчал, и Патриция заговорила снова:

– Но все это мы поняли, только когда выросли. В детстве мы просто не знали, что можно жить по-другому, не так, как мы жили, и что родители могут быть другими. Мы приспособились... знаешь, как дети в концлагере. И нашим главным чувством был страх. И когда мы совершали какой-нибудь проступок, мы сами, не дожидаясь наказания, становились в угол. И объясняли родителям, почему там стоим. Мы знали, что они это любили. А нам хотелось хоть какой-нибудь любви. Кажется, до замужества мы так обе и простояли в углу. Мы даже не дружили между собой

– потому что доносили друг на дружку. Потом очень трудно было стать нормальным человеком, нормальной женщиной. Может, уже и невозможно. Потому что наши мужья, узнав наши слабости, превращались в наших родителей.

Она бросила на меня быстрый испуганный взгляд и спохватилась:

– Прости, не знаю, почему я все это тебе рассказываю.

Ах, Патриша, Патриша, знаешь на чем возвысилась церковь? На тайне нашей бедняжки исповеди.

* * *

То, что так хорошо и горьковато пахло, оказалось огромными камфарными деревьями. Они росли вокруг дома.

* * *

Тут подоспел «Ду-Да парад». Как это перевести, я не знаю. Скорее всего – парад дураков. Впрочем, нет. Ведь два эти слова ничего не означают. Что-то типа «хо-хо», «фу-фу» или «брр»... А может, это «трах-тарарах»? Или «пум-пурум»? Нет. В оригинале – ни шума, ни грома, а так – всего четыре глупых звука. Может, «тум– тум»? Или картавенькое «ду-дак»? Падад Дудаков?

Этот был пятнадцатый по счету. Проводился он в нашей Пасадене, как и другой – Парад Роз. Но если парад Роз был парадом всяческой красоты, то Падад Дудаков был парадом всяческого безобразия.

За два дня до парада на крыльцо нашего дома вместе с почтой лег бесплатный журнальчик с программой праздника и, листая его, Патриша давилась от смеха, оглядываясь в мою сторону с той досадой, какую мы испытываем, когда силится объяснить иностранцу непере译имую игру слов. Кое-что я все-таки понял. Ну, скажем: «Марш Полька-джаза памяти Элвиса. Потрясный ансамбль в составе внебрачных детей короля рок-н-ролла, зачатых в минуту его незабвенного турне по Германии. В благодарную память о своем па-пеньке, они исполняют только самые улетные хиты и только в единственном известном им стиле “а ля полька”». Видимо, эта самая «полька» щекотала какой-то смеховой участок в американской головешке... Или «Общество насморчников снова выйдет на парад, чтобы посеять свои микробы».

Или «Бюрократ-Бэнд. Синхронный ход с дипломатами. Марш Все-как-один». То, что бюрократы пройдут в ногу в одинаковых черных костюмах с одинаковыми черными дипломатами в руке, вызывало у Патриции злорадный смех.

Поди разбери этих американцев.

Были там и отдельные номератипа: «Я – Самцовый Пес» или «Горга – Зеленый Обезьян».

Парад охватывал несколько улиц и бульваров и заканчивался в местном Центральном парке.

Мы оставили машину за несколько кварталов до этого парка. Парад должен был начаться через два часа, ровно в полдень, но прилежащие улицы были уже забиты машинами, а на Фэр оук Авеню, то бишь на улице Красивых Дубов, зрители уже заняли тротуары. Они пришли сюда загодя с лежаками, складными креслами, надувными матрасами, ковриками и одеялами, с сумками еды и питья, и теперь, переодевшись в майки с эмблемой парада, в бейсбольные шапочки, релаксировали на солнце. На многих красовались поролоновые рога, а также могучие носы и мясистые уши.

Мы выбрались на бульвар Колорадо неподалеку от пересекающей его Раймонд Авеню и стали искать себе местечко, что было непросто, так как тротуары были уже заняты почти во всю ширину. Свободным оставался только узкий проход вдоль стен домов, где все и пробирались, то и дело сталкиваясь и с доброжелательной улыбкой уступая друг другу дорогу. Некоторые зрители

проскакивали и по проезжей части, а самые настырные – в основном подростки на роликах – норовили перебраться через живой заслон. Сделать это, ни на кого не наступив, было невозможно, но надо же, я не заметил в ответ ничего похожего на раздражение, недовольство, гнев. Уличная толпа была начисто лишена агрессии. По определению. Вот оно что, подумал я. Значит, это и не толпа вовсе. В АМЕРИКЕ НЕТ ТОЛПЫ.

Наконец и мы с Патрицией притулились за раскладными стульями, и вполне удачно, так как перед нами стоящих не было. Наша сторона улицы была в тени, а противоположная – на солнце, и солнечная сторона зрителей кричала хором: «Ду!», а теньевая отвечала: «Да!»

В открытом окне какой-то кафешки возникло множество ковбойского вида загорелых мужских голов – головы, дружно разевавая зубастые рты, запели что-то бойко-знакомое и вся улица радостно подхватила песню. Проехали красивые, в черном, полицейские на красивых черно-белых мотоциклах, высоко в небе пролетел спортивный самолетик, таща за собой трепещущий транспарант с надписью «Ду-да», по зрителям прокатилась волна предвкушения, на перекрестке брызнули серебром трубы заливчатского оркестра, грянул марш, будто с полки грохнулась на кафельный пол металлическая посуда, и парад начался.

Промаршировали заявленные номера – команда синхронных бюрократов, полька-джаз и прочее. Проскакали, взгромоздившись друг на друга, сатанисты; проехали, лежа животом на роликовых тележках, любители подводного плавания, два десятка актеров дали двум десяткам полицейских пощечину – как объяснила Патриция, недавний случай из жизни, имевший шумную прессу. Самцовый пес, продев свой толстый хвост между ног, продемонстрировал нам мужскую мощь. Сбывалось мое тихое подозрение, что словесное остроумие журнальчика будет не просто проиллюстрировать.

Из толпы в участников парада и обратно летали мексиканские лепешки с надписями типа «сам дурак» или «поцелуй меня в зад». Почти напоследок провезли огромную кучу ненастоящего дерьма с надписью «вДУХновенные фекалии», попутно окропив нас чем-то зеленоватым – приобщив, так сказать.

Градус парада потихоньку падал. Зрители, расположившиеся возле перекрестка, стали сниматься со своих мест – это показался хвост праздника. Все потекли следом за хвостом. Двинулись и мы с Патрицией. На проезжей части было тесно, где-то впереди еще гремела музыка, и ритм шествия превращал и нас в стыдливых участников.

Асфальт был залит зелеными и красными разводами, усеян цветными бумажками, заляпан растоптанными мексиканскими лепешками. Под ногами отчаянно гремела банка из-под пива – ее футболили все дальше и дальше. Среди толпы навзрыд плакал мальчик, закрыв лицо руками.

– Что с тобой? Что случилось? – остановилась возле него Патриция.

– Я потерял папу, я не знаю, где он. Я не знаю, куда идти. Мы приехали на машине, – на залитом слезами лице мальчика было написано отчаяние. Он не верил в помощь и ему было страшно.

– Ну и что, что потерял! – бодро сказала Патриция. – Сейчас мы найдем твоего папу.

Она подвела мальчика к здоровенному полицейскому, прототипу которого полчаса назад принародно вlepили пощечину. Тот, положив здоровенную лапу на маленькое плечо мальчика, сел перед ним на корточки и стал спокойно задавать вопросы.

Срезав путь, мы направились к парку. На Грин стрит, пересекающий Фэр Оукс, парад был еще в полном разгаре, как будто время откатилось назад, застав нас в уже прошедшем, – полька-джаз, бессмертные бюрократы, Горга – зеленый Обезьян...

В парке под наполовину облетевшим дубом, сверкая золотом и серебром, взрыкивал духовой оркестр, открывавший парад. Маленький пожилой негр в черном костюме и белой манишке выделялся в пыли ногами полузабытый степ. Ему аплодировали.

* * *

В моем отношении к миру много школьного, географического. Сознание того, что я стою на берегу Тихого океана, может привести меня в экстаз. В детстве я попеременно мечтал быть то летчиком, то моряком и даже занимался в авиамodelьных и судостроительных кружках. Но не потому, как я теперь понимаю, что хотел летать и плавать, а – чтобы видеть новые земли. Новая земля всегда казалась новой жизнью, а мне хотелось прожить много разных жизней – наверное, поэтому, мне досталась только одна, скучная и серая, неподвижная, в моей убогой стране, в моем послушном испуганном народе.

Что здесь прежде всего бросается в глаза – неиступанность. Прямая спина, подбородок поднят, взгляд самоуверенный. Мужчины здесь выглядят намного мужественней. Русский мужчина – он коллективный, взгляд его блуждает, пока нет команды, походка неопределенная, поступь нетвердая – ан, не туда путь держит?

По природе я человек открытый и прямодушный, к тому же разговорчивый и даже как бы имеющий на все свое мнение. Но жизнь меня закрыла и научила молчать. Я молчу неделями. Иногда я произношу в день не более десяти слов. «Пробейте талончик, пожалуйста», «до свидания», «мне пачку кефира», «сегодня не могу». Но в себе я говорю постоянно, я веду бесконечные монологи, пишу письма в комитет по экологии и защите прав потребителей и в комиссию по налогообложению, выступаю в теледискуссиях, поучаю, обличаю и горько слезы лью. Иногда я даже пишу в голове целые романы. Десять минут, и роман готов. Вот человек. Жил да был. Любил и надеялся. Счастье знавал. А потом стал стар и несчастен. И умер. Хотя сейчас мой внутренний голос тоже молчит – он мыслит только по-русски, и в отсутствии мыслимой аудитории ему нечем себя занять. Это смущает его. Похоже, он даже слегка поглупел без привычного ежедневного тренинга. Мой убогий английский ему не подмога. Это все равно, что идти по канату. Теперь, прежде чем открыть рот, я должен собраться в комок. Чужой язык лежит во мне, как куча мусора, которую надо постоянно разгребать: склянки сюда, бумажки туда... Ничего. Не все сразу. НАДО ПОТЕРПЕТЬ.

Мне тридцать восемь. В этом возрасте гении умирают. Не обязательно физически. Просто если в тебе был гений, он все равно в этом возрасте умрет. И ты будешь жить дальше как посредственность или по инерции. Все гениальное сделано до тридцати восьми. Я же ничего не сделал. Но у меня есть оправдание – я родился не в той стране. Может, я только просыпаюсь? Ведь в истории немало таких примеров. Гений в человеке вдруг как бы пробуждался после летаргического сна... Только непонятно, зачем мне гениальность? Почему мне так хочется кому-то что-то доказать, утереть нос? Почему мне хочется общественного признания? Допустим, если бы я сейчас сидел в роскошном «линкольне» рядом с женой-миллионершей или, подкатив к своему дворцу-особняку, выходил бы из машины, то мне было бы мало, что все это у меня есть, – я бы даже не смог наполнить всем этим сердце – оно наполнилось бы только тогда, когда бы все, кому я хотел что-то доказать и утереть нос, когда бы они в этот момент меня увидели, бледные от зависти. Наверное, когда-то очень давно, может, даже до Христа, который вызывает у меня раздражение, мои предки были царями в каком-нибудь не очень большом средиземноморском царстве. Откуда еще во мне эта затаенная, невоплощенная великая спесь? Жажда судить и миловать. Жажда повелевать и проявлять великодушные к падшим у ног моих. Это гордыня, я знаю. И если сейчас я ем из одной миски с кошками – то это тоже из-за гордыни. Гордыни добровольного унижения. Так и совершался постриг – через великое умаление своей прежней личности, ради грядущего возвышения в новой, иной.

Мы выезжаем на скоростное шоссе и вписываем свою жестянку в залп пролетающих машин. Пейзаж – это холмы, а затем плоская, как стол, равнина. Справа, за береговой чертой – тусклый блеск океана. Я втягиваю ноздрями воздух – океан не пахнет. Но вот земля, словно вняв моему ожиданию, приподнялась, выгнулась, женственно округлилась, и на красивых холмах террасами выросло предместье Лос-Анджелеса под названием Роллинг-Хиллз, в котором прошло детство бедных девочек Триши и Кэрл. Именно сюда и привозили их на лето родители из родного, но дождливого Орегона. Это было местечко для богатых людей, название которого можно было бы перевести как Каталъные горки. Это был как бы курорт в курорте, или даже курорт в курорте курорта, потому что ведь курортом была и сама Калифорния, и город развлечений Лос-Анджелес.

Что же такое богатые? Если подумать, это люди, которые умеют устраиваться и делают это с полной отдачей. У них есть особый ген – чувство хозяина жизни. С ним они и рождаются – и раз они хозяева (независимо от того, богаты они или бедны на данный момент, с наследством или без) такие люди рано или поздно берут жизнь в свои руки. Но для этого надо родиться на земле, где подобный ген поощряется. На такой земле никогда не пели песен про то, что человек проходит как хозяин необъятной родины своей. Именно – «как». Да и куда проходит? У подлинного хозяина совсем другие песни. Если большинство живет как трава, то богатые – это большие деревья, раскинувшие свои мощные кроны навстречу космической энергии жизни, так что траве в лучшем случае достаются лишь блики, когда ветер жизни слишком уж раскачивает верхи.

Патриция решила остановиться возле одного из отелей, откуда был самый удобный выход к морю, но свободного места для парковки не оказалось, и мы стали шнырять по близлежащим улочкам, летающим вверх и вниз под таким углом, что дух захватывало. Я озирался по сторонам и не скрывал восхищения. «Здесь самое дорогое жилье, – хмыкнула Патриция, – самый маленький домик сдается на месяц за три тысячи долларов». В ценах я уже начал разбираться – за свой нижний этаж-студию Патриция платила вскладчину с двумя преподавательницами пятьсот долларов. Вот так. Естественный порог, естественный отбор. Бельенские сюда – бедненькие туда. Бедненьких здесь не было и быть не могло. Кроме нас, втиснувшихся наконец между двумя солидными «карами» и оставивших в их компании главную улику нашей бедности, за что, впрочем, все равно пришлось накидать в счетчик монет на четыре часа вперед.

Мы вытаскиваем сумку с едой, одеяло с подстилкой, я вешаю на шею отличный фотоаппарат «Кэннон» с длиннофокусным объективом, единственную дорогую вещь в доме Патриции, подарок ее последнего мужа, и мы спускаемся по улице. Поздняя осень, а как ни странно, что-то еще цветет белым и нежно-розовым цветом. Солнце сияет, пальмы качают веерами, будто обмахиваясь от жары, все люди в шортах. На мне тоже шорты – белые, фирменные. «Хочешь?» – протягивает мне конфетку Патриция, и ветерок освежающего ментолового вкуса наполняет меня новой незнакомой радостью. Я чувствую себя человеком этого общества, я сам себя не узнаю, я выше себя, вчерашнего, на целую голову.

Возле стеклянных дверей роскошного отеля меня все-таки охватывает робость:

– А нас пустят?

– Конечно, – пожимает плечами Патриция, – здесь всех пускают.

Жаль, что на ней нет ничего адекватного моим белым шортам. Ее свитер домашней вязки, ее линялые джинсы нарушают, на мой взгляд, целостность окружающей нас обстановки. Но бедное, утешаю я себя, здесь может быть принято и за экзотическое. Такая вот пожилая экзотическая женщина рядом с еще молодым мужчиной вполне может оказаться и миллионершей. Никто ведь тут не видел нашу ржавую мыльницу. Перед выходом в свет мы расходимся по туалетам – то бишь по мужской и женской комнатам, как написано на дверях. В здешних туалетах я еще не вполне освоился – есть проблемы с автоматами, выдающими бумагу, почему-то в каждом новом месте по-своему, но больше всего у меня сложностей с водопроводными кранами. Одни надо крутить, другие нажимать, третьи тянуть, четвертыми манипулировать, как джойстиком, пятые включаются сами, едва поднесешь ладони, шестые – если только ты во-время догадаешься, что на полу под ногой – кнопка, седьмые же не откроются, что бы ты с ними ни делал... они как верные псы служат только своим. Так что прежде чем подойти и небрежным жестом открыть воду, я каждый раз должен искоса понаблюдать, как это делают другие. Когда я все же попадаю впросак, кровь приливает к моим щекам и ушам – и мне кажется, что все вокруг понимают, кто я такой и откуда.

В мужскую комнату то и дело врываются загорелые мускулистые дядьки, запираются в кабинках или облегчаются в прихотливые, как морские ракушки, писсуары, моются, плещутся, разглядывая себя в зеркало и изводя горы нежной бумаги.

– Да, с годами все меньше хочется смотреть в зеркало, – весело квакает один из них моему отражению. Так он понял мой задумчивый по поводу бумажного полотенца вид.

Я выхожу первым – Патриции нет, и я жду ее, погрузившись на дно роскошного кожаного дивана. Ноги оказываются чуть ли не выше головы и из этих мягких кожаных объятий богатой праздности так не хочется вырываться. Напротив меня сидят две молодые холеные телки, похоже, охреневшие от красивой жизни, потому что тут же включают меня в поле своего внимания. Сердце мое начинает учащенно стучать – господа, они принимают меня за своего, они непрочь пофлиртовать! Сейчас мы выйдем вдвоем и сядем в двухместный ягуар – они положат меня поперек к себе на колени и повезут к другой жизни. Я буду любить их вместе и поочередно, я буду их милым и нежным другом. Обнявшись, мы покатаем по свету, где белые отели, голубая вода и бронзовый загар. Мы купим кровать на троих, и по утрам я буду приносить им на подносе две чашечки кофе-капучино и два маленьких утренних мартини с виноградинками куннилингуса на дне. Но появляется Патриция, и видение исчезает. Мои богатые подружки меряют ее презрительным взглядом, и мы удаляемся, как да шука, навстречу своей пресной судьбе.

Патриция хорохорится, но я вижу, что и она не в своей тарелке. Укороченный шаг, зажатые плечи, опущенная голова – так, на цыпочках, проходят слуги мимо барского застолья. А в ресторане, каковой нам приходится пересечь, и вправду пир горой. Дух жаровни, языки пламени, дым, уходящий в черный зев вытяжки. Трудно не остановиться, не заказать коричнево-розового мяса на шампуре, но у нас все с собой, в корзине, мы минуем второй круг искушений – столики на террасе под голубыми тентами, хлопающими на ветру, где белые люди переходят к фруктам, к мороженому, к отличному калифорнийскому вину, – и наконец оказываемся на океанском пляже.

Это первая моя встреча с океаном. Мне хочется, чтобы он отличался от моря и я тут же нахожу это отличие. У него протяжней дыхание. У него в десятки раз длинней волна, и зрелище этих рождающихся, долго набирающих силу и бегущих к берегу волн, завораживает. Это как раз те самые волны, на которых можно кататься. Вон они, серфингисты, со своими досками – серфами. Все в резиновых костюмах – в воде холодно. Но не потому, что поздняя осень. Летом вода здесь ненамного теплее. Такая вот особенность здешнего климата. Горячий воздух и холодная вода. Ее приносит сюда холодное течение, зарождающееся у берегов Аляски. Так что купаться здесь все равно, что в Финском заливе. Без резиновых костюмов только мальчишки. Эти не мерзнут. Такое у них время жизни. Накатывает длинная гряда волны – серфингисты вскакивают на свои доски и катятся наискосок вниз по ее бегущему склону, опережая плещущий рядом пенистый гребень, пока тот не настигнет их, накрыв с головой.

Длинное дыхание водного простора возвращает мне уверенность и бодрость, и пока Патриция, расположившись на песке, малюет акварельку в альбомчике, я, скинув кроссовки и футболку, пускаюсь в разминочный бег вдоль уреза воды. Я уже несколько лет как бросил бегать. Зачем было преодолевать сопротивление жизни, если она того не стоила. Другое дело – теперь. Вперед, Peter, ты еще будешь счастлив! Бежать легко, в ногах осталась память бега, дыхание у меня поставлено – это от тенниса – я еще молод, я могу бежать и бежать, четыре шага вдох, четыре выдох, я легко обхожу других бегущих, мне хочется даже подпрыгнуть, но я сдерживаюсь, не то ветер подхватит меня и понесет неведомо куда...

Патриция все корпит, сгорбившись, над своей дилетантской акварелькой и, чтобы не мешать ей, я пробегаю мимо в другую сторону. Бухта Авалон оканчивается вдали мысом, на мысу – высокие тонкоствольные пальмы, за ними – богатые особняки. А волны все накатывают, медленно, торжественно – сто шагов вдох, сто шагов выдох – вот какие легкие у океана, в солнечном воздухе на ниточках висят картонные самолетики, взрослые здесь, как дети, а дети, как взрослые, след мой слизывает языком волны. Какая-то птичка бежит неустанно за ней и от нее по мокрой полосе песка, поклевывая что-то, выброшенное на берег. Я смутно чувствую некое сходство с ней...

Вернувшись, я беру фотоаппарат и принимаюсь снимать. Я снимаю все подряд – волны, серфингистов на них, пальмы на далеком мысу, красивый разноразной частной архитектуры, молодых довольных супругов со счастливыми малышами в широкой коляске, задирающими к небу свои розовые пятки, двух мужчин, бьющих с лёта пляжными укороченными ракетками по облегченному мячу, – у меня бы получилось не хуже, снимаю чаек... Чайки здесь крупные, сильные, с мощными крыльями. Их все больше, они кружат над Патрицией, галдят, на лету подхватывая кусочки корма, которые подбрасывает в воздух длинная худая рука Патриции. Я не

люблю чаек, но ложусь на живот и прилежно щелкаю, стараясь совместить их в кадре с Патрицией – ей будет приятно. Вот уже целая стая рвет клювом и крыльями воздух над моей хозяйкой, стоит крик и гвалт, так что вдруг холодок пробегает у меня по спине. Это похоже на «Птиц» Хичкока. Многие оборачиваются и недоуменно смотрят на дерущихся чаек над головой Патриции. Происходящее неприлично, но ей уже не остановиться – с видом нелюбимой, упрямой девочки она продолжает кормежку назло всему миру, словно забывшему о жестокой изнанке сытости и довольства. Она бросает сытым вызов...

Но вот чайки улетают. Пора и нам перекусить. Солнце уже спускается с порозовевшего небосклона, клонясь к мысу с пальмами, и вода, воздух приобретают миллион новых оттенков. Я с аппетитом уплетаю маленький бутербродик с ветчиной и майонезом и тянусь в корзину за следующим – мы заготовили не меньше десятка, но Патриция смотрит на меня проникновенным взглядом как на единственного, кто все понимает, и говорит извиняющимся голосом диснеевской Белоснежки:

– Ах, Петъя, у нас больше нет. Я все отдала чайкам. Они такие красивые и такие голодные. Прости.

– О'кей, – говорю я, проглотив слюну. – Нет проблем, – встаю и стряхиваю песок со своих фирменных белых шорт. Пальцы мои попадают во что-то мерзко-липкое. Это рыжий птичий помет. Растерянно оглянувшись, я замечаю, что весь песок вокруг Патриции изгваздан свежими шлепками дерьма. В знак, так сказать, птичьей благодарности.

– Не беда, – ободряет меня Патриция, стараясь не смотреть на мои шорты. – В темноте будет не очень видно. Попробуй морской водой.

И правда, быстро темнеет. Теперь пальмы нарисованы углем на малиновом закате. Длинные волны обозначаются у берега протяжными вспышками пены да еще горят цветные зеркала мокрого песка. Наверху на террасе зажигают огни, оттуда льется томная музыка. Фрэнк Синатра. На пляже уже никого. Холодно. Голодно. Тянет к теплу.

* * *

Кажется, во всей Южной Пасадене нет машины, запущенной нашей. Я все собираюсь ее расчистить и навести внутри марафет. Каждую ночь на нее падают сухие листья и, размякнув в утренней росе, прилипают, как стикеры, к радиатору. Патриция их не смахивает – сложив свое длинное тело в кабине, лихо, задним ходом, выруливает на нашу Палм-Стрит и включает первую скорость. Утренний ветер обдувает лобовое стекло, разметая листья набившиеся между им и дворниками, затем подсыхает, одновременно самоочищаясь, и капот радиатора...

Но никакого ветра не хватило бы, чтобы разобраться с содержимым нашей кабины. На заднем сиденье, недоступном для пользования, был целый склад – коробка склянок с красками, батарея банок с кошачьим питанием, пачки рисовой бумаги, куски картона, тряпки и что-то недоеденное с незапамятных времен Пирл-Харбора в коробке от Макдональдса. Лишнее Патриция не выбрасывала, а просто сметала с сидений на пол. Под моим сидением под кучей жухлой листвы завелся целый муравейник, перерабатывающий какую-то крупную пищевую залежь, – муравьев Патриция не велела выгонять – Божьи твари были при деле... За всем этим усматривалась тенденция превратить машину в некий экологический комплекс, где вершатся естественные для природы процессы.

В субботу утром, выйдя во двор, я не узнаю его – он прибран, подметен, листва собрана в кучки, а все свободное пространство между деревьями перегорожено натянутой проволокой. На проволоке – проволочные же плечики, на плечиках – пестрый second hand. Глянув острым взглядом постсовковского люмпена, я прихожу к выводу, что на наших развалах тряпье покруче. Правда, – на раскладушках, а не на вешалках, но круче. А тут – просто последнего разбора. Кто же такое купит? В продавцах я узнаю двух мрачных баб и невзрачного мужичонку из соседнего дома, выходящего тылом в наш двор. Они мне мучительно знакомы – будто с родной российской барахолки. Почему мы и не здороваемся. Или же они перенесли на меня свою неприязнь к

Патриции. Или просто принимают за такое же дерьмо, как они сами. Разве порядочный человек стал бы здесь жить? Целую неделю они свозили во двор это барахло, стирали, сушили, подшивали, латали и гладили. И вот оно – налетай, подешевело! Самое поразительное, что к полудню во двор стал заглядывать народ, привлеченный фанерной самопальной рекламой. Кто-то что-то покупал! Люди приходили тихие, незаметные, говорили вполголоса, смотрели не в глаза, а себе под ноги. Это слуги, – вдруг осенило меня. Слуги, ютящиеся в задних каморках богатых особняков и получившие короткую увольнительную на уикэнд. У них нет машин, чтобы добраться до города. И они покупают здесь...

* * *

День проходит, как во сне, и снова вечер. На кухне горит свет, у открытого темного окна под теплым абажуром греется самый умный из наших котов – черный Мацушима. Рядом Патриция, которая, заслышав мои шаги, делает вид, что читает. Книга у нее в руках вверх ногами. Я желаю ей доброй ночи, и она мне желает того же. Однако в ее круглых глубоко посаженных глазах с тонкими верхними веками дрожит плохо скрытое недоумение, которое причиняет ей нравственные страдания. То, что плохо скрывают, легко прочесть. «Если мы с тобой не занимаемся любовью, Петъя, – читаю я, – то какого рожна ты у меня живешь, да к тому же каждый день жрешь мой хлеб с ветчиной, политый майонезом?» На этот вопрос у меня пока нет ответа. А может, его вообще нет.

Ночью я просыпаюсь, как от толчка, и обнаруживаю, что мой мучительно восставший фаллос приподымает одеяло, словно ему душно. Ночь выдалась теплая и из трех одеял я оставил на себе только одно, среднее. Я переворачиваюсь на живот, придавив бунтовщика всем телом, и вдруг чувствую локтем, что в одеяле что-то зашито. Это комочек под тонкой синтетической материей действует на меня так, что остатки сна испаряются вместе с безадресной похотью. Патриция мне говорила, что деньги она прячет от воров там, где они не станут искать. И показала мне на ящик в коридоре с постельным бельем. Значит, сама их сюда и зашила, – четко решил я с логикой лунатика. Но почему она подсунула это одеяло мне? Тоже из-за воров. Им не придет в голову шмонать неимущего гостя. Патриция здесь ни при чем – четко тикает мозг. Это одеяло она купила по дешевке на такой же дворовой распродаже. Кто-то умер, старуха-процентщица, и после нее осталось одеяло с зашитыми стодолларовыми бумажками. В рулончике их наощупь не меньше пяти. Пятьсот долларов – это целое состояние. И Патриция об это не знает. Иначе бы предупредила.

Рулончик был вшит между двумя слоями одеяла. Я чутко ощупал его и определил, что от него тянется шпагат. Я повел пальцами вдоль шпагата и обнаружил еще один рулончик. А затем еще два – они были нанизаны на шнур, чтобы в нужный момент дернуть и вытащить все вместе. Меня даже пот прошиб. Тут был целый клад, спрятанный с тем ухищрением ума, на который наивная Патриция была, конечно, не способна. Это были не ее деньги. Я лежал в темноте с открытыми глазами. Если я скажу Патриции – она возьмет деньги, ибо это ее одеяло. С другой стороны она покупала его на распродаже по бросовой цене. А вшитые купюры обнаружил я – значит, они мои. Вот она удача, о которой я так давно и неистово мечтал. Я полечу на Гавайи, я... Мечтая, я нащупывал в одеяле все новые долларовые сгущения, связанные прочной, видимо, нейлоновой нитью, и таким образом дошел вдоль нее до самого края, где пальцы мои ухватили плотный резиновый предметик. Сам не свой от волнения, я потянулся, включил лампу, стоящую на полу и зажег свет, хотя понимал, что лучше бы не выдавать себя...

Резиновый предметик оказался розеткой. Электрическое одеяло...

Не скажу, что разочарование было очень сильным. Я снова лег на живот и постарался хорошенько расслабиться, чтобы заснуть. Что-то со сном у меня никак не налаживалось.

* * *

Три раза в неделю, во второй половине дня Патриция дает уроки рисования и живописи. У нее несколько групп школьников – от малышей до старшеклассников. Урок длится два часа и стоит

ученику, вернее его родителям, двенадцать долларов. Для одних родителей это много, для других мало. Дети здесь из самых разных по уровню жизни семей. Годовой доход Патриции сорок тысяч долларов. Это очень приличный заработок, равный профессорскому, но пятнадцать тысяч она тратит на краски и бумагу и прочие материалы. Так что остается двадцать пять – это доход тех, кто принадлежит к нижнему слою среднего класса. Мой годовой доход в газете составлял полторы тысячи долларов.

Патриция могла бы получать и больше, но настали трудные времена – американцы беднеют и стараются меньше тратить. Что такое трудные для Америки времена, я не очень хорошо себе представляю. Магазины ломятся от товаров, продуктов море разливное. Музыка и реклама. Не проезжайте мимо. Только сейчас и больше никогда. Самые низкие цены, сама большая распродажа. Прямо, как у нас, хочется сказать мне. Но еще совсем недавно у нас так не было. Значит, как у них. Я помню очереди за хлебом и спичками в девяностом году. Я помню, как в том же году моя матушка пришла из магазина и тяжело опустилась на стул в коридоре, не в силах сделать еще шаг. «Сынок, ветчину давали, – сказала она. – Четыре часа простояла в очереди. Не досталось...» – и всхлипнула. Я не простил коммунистам этих ее слов, как не смог потом простить демократам, которых я выбирал и защищал, своей нищеты. Страна отвернулась от меня, а я от нее.

За тонкой фанерной стенкой детские голоса и музыка. Но не такая, как в моем приемнике, – Патриция ставит классику. Здесь рисуют под Вивальди, Моцарта, Баха и ее любимого Прокофьева. Я сталкиваюсь с детьми в коридоре и на кухне, когда занятия совпадают с моим ужином. Американские дети не такие, как русские. На эту тему мы много дискутировали еще в лосевском летнем лагере. Наши скромнее и незаметнее. Каждый американский ребенок – это уже как бы готовая личность, и с другим его не спутаешь. Но не спешите горевать, не спешите в корне менять нашу отечественную педагогику, привыкшую воспитывать коллективистов. На самом-то деле американский индивидуализм – это внешнее, напускное. Да, русские дети послушны и исполнительны, они привыкли подчиняться, но это тоже внешнее, напускное. Талантливость русских детей Патрицию поразила. А американские дети – они никакие. Они не знают, что такое дух. Свобода им ничего не предлагает, кроме рекламных щитов и фоторепродукций. Вот они и копируют. Учиться рисовать в Америке – это учиться копировать. Дети перерисовывают фотографии из рекламных журналов: девочки – красоток, мальчики – новые марки автомобилей... Самое большее, на что они способны, – это скопировать фотопейзаж. И родители счастливы. По их мнению, в этом и заключается искусство художника.

Я их почему-то боялся. Мне казалось, что они мои судьи. При них я чувствовал себя явно не на своем месте. Что я здесь делаю – спрашивал я сам себя при них. И еще – я дико стеснялся своего английского. В свои шесть-семь лет они говорили много лучше меня. Мои английские предложения представлялись мне колонной военнопленных, которых я сопровождал по дороге как охранник. Колонна двигалась неохотно, из-под палки, не было в ней радости свободного самовыражения. Подневольный шаг колонны вызывал у меня постоянный стресс. Маленьким американцам было безразлично, кто я такой.

У Патриции дети переодевались, облачаясь в длинные, до колен, рабочие рубашки, хранящиеся в специальной тумбочке в коридоре. Дети были крайне самостоятельными – с независимым видом шастали по коридору, в ванную комнату и на кухню – мыть кисти и руки. В ванной для них висело специальное полотенце, ужаснувшее меня, когда я впервые туда вошел. О назначении полотенца я еще не знал, и некоторое время оно занимало первое место в ряду моих тяжких открытий, как, скажем, и сама ванна, которую, похоже, последней раз чистили, когда Калифорния еще принадлежала Мексике. Дети были вежливые, но настырные. Стоило закрыться в ванной (она же туалет), как они немедленно начинали стучать в дверь. И хотя даже американцу должно было быть понятно, что занято, они не переставали дергать и колотить, пока я не подавал голос. Только тогда наконец на полминуты воцарялась тишина.

Иногда вместо музыки, Патриция читала детям красиво выпущенные байки своей подруги Ширли Русако про «бабушку», «дедушку», «Варьиньку» и снег, о котором было написано как о девятом чуде света. В развитие русской темы Патриция рассчитывала на меня – и я с трепетом ждал того дня, когда должен буду предстать перед тремя десятками детских глаз.

Через час непристойный треск на кухне извещал, что подросла воздушная кукуруза, затем начинал свистеть чайник. Сейчас в коридоре мимо моей двери длинным верблюжьим шагом проследует Патриция, неся на подносе тяжелые керамические кружки с чаем. Я выйду и помогу ей донести остальные. «Ах, спасибо, Петъя, ты такой внимательный». А в глазах вопрос – не пора ли тебе, Петъя, потихоньку-полегоньку возвращать долги. Раз не натурой, то хотя бы на скудной ниве воспитания подрастающего поколения. А то я тут корячусь одна, как карла.

Воздушная кукуруза, запах масляных красок и дешевого растворителя, маленькая ночная серенада Моцарта, ранние сумерки, недвижные купы камфорных деревьев, звездное небо, созвездие Ориона высоко над крышей нашего дома, три звездочки одна за другой и еще две на одинаковом расстоянии сверху и снизу. То ли лук со стрелой, то ли аптечные весы. Хорошо ли я все взвесил? Зимой Орион стоял и над моим домом в Петербурге, только не так высоко.

День Благодарения совпал с днем рождения второго мужа Патриции. На День Благодарения положено съедать turkey, то бишь турка, а по нашему – индюка. Видимо, наши индюки притопали из Индии, а ихние – приплыли из Турции. Но это одно и то же. Индюка Патриция заказывала по телефону, и когда мы приехали в магазин, он уже был взвешен, завернут и тяжел, как валун на дороге.

С самого утра индюк скворчит в духовке, облаченный, как космонавт, в скафандр фольги, Патриция что-то месит и варит, пробуя из длинного деревянного черпака явно российского происхождения. Идея праздника том, чтобы нажраться до отвала, буквально – to pig out, то есть как свинья. А вчера целый день мы готовили подарки ее второму мужу. В последнее время ее отношения с мужем потеплели – годы идут и пора подумать о том, кто в старости будет подносить тебе судно или утку. Она стала пускать его в дом. Мое появление явно усилило активность экс-мужа, будто я собирался оспорить его моральное право на утку.

Мужа зовут Рон Мацushima, он чистокровный японец, хотя родился в Америке, куда в двадцатые годы переехали его родители. Детство его прошло в американском концлагере, куда после Пирл-Харбора свезли здешних японцев, и потому Патриция все понимает и давно уже простила Рону его прегрешения. Патриция много переняла от мужа – ну, например, искусство раскрашивания тонкой рисовой бумаги. Зачем? Чтобы завернуть в нее подарки для Рона. Он как ребенок любит подарки. И любит, чтобы их было много. И чтобы они были в оберточной бумаге его детства. О, это просто! Большой лист складывается сначала квадратиками, потом треугольниками, потом окунается разными концами в чашки с тушью разного цвета. Остается отжать, расправить и повесить на прищепки. Вон уже сколько их, пестреньких, стремительно сохнет на теплом калифорнийском ветру. Взявшись помочь, я изобретаю новые варианты раскладки и раскраски рисовой бумаги. Варианты удачны. «Ах, Петъя, – поет Патриция, – вы, русские, такие талантливые!» Почти как японцы, – хмыкаю я про себя. Похоже, она счастлива, что трутень наконец сподобился ударить пальцем о палец. Завернутые в раскрашенную бумагу подарки перевязываются разноцветной тесьмой – с колокольчиками, с уже готовыми пышными бантами, со спиральками... Подарков так много, что их хватило бы на целый детский сад. Сверху на некоторые, уже обернутые, приклеиваются открытки, чаще всего с гравюрами несравненного Хокуса. Даже меня, выросшего на отшибе цивилизации, Хокусай преследует с детства. По-моему, японцев должно от него тошнить. Среди подарков преобладают календари и календарики на будущий год. Видимо, в доме Рона Мацushima много комнат и комнатшек, столов и столиков – письменных, кухонных, туалетных. На каждый – по календарю. Это как книга судеб. Ты пролистываешь будущие месяцы с абсолютной уверенностью, что доживешь до них. Самое удивительное, что довольно долго так оно и происходит.

Картонный короб, полный подарков, уносится в студию и, когда я ненароком заглядываю в дверь, второй муж Патриции уже там. Мы еще не знакомы, и потому я тихо пячусь назад. Впрочем, Рону не до меня – он с головой ушел в подарки. Нашу оберточную бумагу он не жалеет – рвет, как попало – очень ему хочется поскорее добраться до того, что внутри. Патриция же на кухне со своим индюком и кастрюлями и сопереживать восторги своего бывшего мужа, похоже, не собирается. Весь запас причитающегося ему внимания она уже как бы исчерпала. Поэтому для меня лично так и остается неизвестным его оценка наших с Патрицией трудов. Однако вдруг странное чувство охватывает меня – что мы с Мацushima соперники и что Патриция специально

устранилась, дабы мы в смертельном поединке на самурайских мечях выяснили, чья она. Затаив дыхание, на цыпочках я спускаюсь с крыльца и к великому своему облегчению вижу шоколадную «тойоту» Каролины. Каролина приехала не одна, а с родственницей Микаэлой, живущей неподалеку. На ней женат сын Каролины. Родственники – это большая сила. До дуэли они нас не допустят.

Впрочем, я категорически ошибся – Рон Мацушима славный миролюбивый мужик. По профессии – архитектор. Хотя он лет на двадцать старше меня, у него абсолютно гладкое лицо и юношеские зубы. А Микаэла меня моложе – она жилистая как канат, с прядями седины и трагическим выражением больших темно-карих глаз. Но трагедии в ее жизни нет – живут хорошо, трое детей. Это не трагедия, а как бы озабоченность, что в мире еще так много зла и где-то в Курдистане убивают. Микаэла – врач-психиатр. Она приглашает меня в гости и взгляд у нее такой открытый, что мне становится неловко. Она много обо мне слышала от Патриции и Каролины и просто счастлива познакомиться. Такой день, такой день, столько дел, а она слишком поздно поставила в печку turkey.

* * *

Среди подарков Рону оказывается и мозаика – из тысячи картонных квадратиков надо составить картину Дега «В танцевальном классе». Рон тут же с воодушевлением принимается за дело, чем заражает остальных. Найти два совпадающих квадратика мне представляется делом немыслимым, но у Рона получается, и он азартно потирает ладони. После него успешней всех Каролина – ее подстегивает дух старшинства. Патриция говорит, что видела в одном доме подобную картину. Ее не только собрали, но наклеили на картон, обрамили и повесили на стену. Памятник убитому времени. И – дебилизму. Через четверть часа возле Дега остаемся только мы с Роном: Рон, потому что для японца – это тьфу, я – потому что мне неловко оставлять его одного. Мы с ним как бы два сапога – пара. Рон прицеливается, пыхтит, радостно смеется, отыскивая очередное совпадение, и демонстрирует его мне. Он вообще охотно смеется – почти каждому моему слову. Будто я великий остряк.

Потом мы провожаем Микаэлу и она настаивает, чтобы мы зашли. А Каролина почему-то не хочет, хотя там ее сын, внучка и два внука. За всем этим угадывается давний семейный разлом. Впрочем, Каролина довольно быстро дает себя уговорить, и мы полным составом всходим на крыльцо. Я догадываюсь, что мое присутствие играет роль связующего материала. «Добро пожаловать, гости дорогие», – читаю я надпись над дверью. Надпись держат две тошнотворно веселые зверушки. В доме трое детей Микаэлы и муж Майк. Служанку они сегодня отпустили. Майк – красивый блондин – лежит на софе и приветствует нас, не вставая. С ним случилась небольшая неприятность – слезал с велосипеда и подвернул лодыжку. Теперь не ступить – то ли растяжение, то ли перелом. Рентген покажет. А пока Майк вынужден занимать горизонтальное положение. Он держится молодцом. Свежая голубая сорочка с короткими рукавами, руки сложены на груди, голубые джинсы и голые ухоженные ступни, на которых он время от времени останавливает одобрительный взгляд голубых глаз. Их старшая дочь Эми, в розовых подростковых прыщах, вместе со своей теткой Патрицией была в Питере и мечтает о новой поездке. Родители ненавязчиво смотрят на меня, и я понимаю, что в этом доме буду почти желанным гостем. Журналист из Петербурга – это все-таки звучит. Если бы я сказал, что я писатель – это бы не прозвучало. А журналистика в Америке – все же профессия. Майк, конечно, занят более солидным делом – оптовой торговлей, но по молодости тоже пописывал в газетке. Где работала мама Каролина, вычисляю я.

...Вечером к Патриции с Мацушимой подтянулся еще народишко, но ели и пили без воодушевления, не по-русски, я все ждал, что гости раскошегарятся, и, пожалуй, хватанул лишнего, потому что вдруг впал в кураж, но, еще раз осмотрев женскую половину тусовки, понял, что хотя бы на пять минут закрыться в ванной абсолютно не с кем.

Невостребованная половина индюка отправилась в холодильник.

Уже полночь позвонила Микаэла. Как у нас прошел День благодарения? У них так грустно-грустно. Майк не смог даже сесть за стол. Пришлось ему есть индюка лежа. Праздничный стол без Майка был такой пустой.

Утром Микаэла заявила к нам – в жеваной майке, рваных кроссовках и шортах цвета хаки из мусорного бачка. Оказалось – за мной. На ее крыльце меня ждал отличный горный велосипед Майкла.

– Как жаль, что Майка не будет с нами, – несколько раз повторила она. – Он так ждал этой субботы, чтобы покататься. Ему так грустно, – в ее темных глазах было страдание.

Я осведомился о его ноге.

– О, слава богу, гораздо лучше. Это не перелом, а растяжение. Как вам байк Майка? Подходит? А то можно взять байк сына. Майк нам так завидует...

У моего байка шесть скоростей, ход легкий, неслышный – я несусь, глядя на узкую спину Микаэлы, на мелькание ее рваных тапочек, на неожиданно хорошо оформленный зад цвета хаки. Ее гоночный велосипед явно быстрее моего. Утренний солнечный воздух свеж и прохладен, а в тени деревьев, под навесом листвы и вовсе как в холодильнике. Декабрь на носу. Асфальтовая дорога почти пуста. Редко где выползет автомашина – заметит нас и вежливо пропустит. Слева, за кустами и деревьями – обрыв, залитое солнцем пространство – там каньон. На дне каньона, среди зеленых куп, отсюда похожих на мох, – тоже домики. Я кручу педали, я вдыхаю утренний воздух, я в земном раю. Микаэла притормаживает, работает сухими мускулистыми ляжками, открыто смотрит на меня – ей хочется поговорить в пути. Говорить с людьми – это ее профессия. Говорить и слушать. А я такой молчун. Я что, не верю, что человек может понять другого человека? Пусть даже это представитель другой культуры, другой ментальности, другой истории и других традиций? Она много раз слышала и читала, уже после того как кончилась холодная война, что русским все равно нельзя верить, что они коварны и вероломны, что у них совесть только коллективная и нет никакой личной моральной ответственности ни за что. Неужели это так? Она будет последней, кто поверит в это.

Это трудный вопрос и большой разговор, повертев педалями, нехотя отвечаю я, и мне нужно хорошенько подготовиться. Посмотреть в словаре необходимые слова. Как-нибудь в другой раз, потому что вокруг так прекрасно, Микаэла, и твой честный товарищеский взгляд вызывает у меня то приступ смеха, то желание показать, что у меня есть. Тебя как врача-психиатра это должно заинтересовать.

– О'кей, – извиняясь, улыбается мне черноволосая с сединами Микаэла и, словно бросая вызов, уходит вперед. Я – за ней. Ее зад выглядит деловитым.

«Дура-баба», – одобрительно думаю я.

Дорога бежит под гору – руки на двух тормозах – и мы въезжаем в лесопарковую зону, посреди которой стадион, рядом огромное зеленое поле для пикника, автостоянка, палатки, палатки, палатки и сотни пасаденцев, трусящих по дорожкам за собственным здоровьем, – белых, желтых, черных. Пробегает затянута в белый эластик негритянка, великолепная как межконтинентальная ракета. Хочется от восхищения зажмуриться. За ней телепает, раскидывая ноги в стороны, залитый потом толстяк. Белый и, судя по всему – муж. Бегут с собаками, с детьми, с любовницами, с престарелыми родителями в каталках, с наушниками, диктующими переменный музыкальный ритм бега на тридцать минут, с бейсбольными битами, кожаными ловушками, теннисными мячами, бегут с гамбургерами, чипсами, пепси-колой, фото-видеокамерами, хронометрами, морскими биноклями и роликовыми коньками через плечо. Бегут со жвачкой, с улыбкой, с приветом, с фарфоровыми зубами, со свечами от геморроя, с бандажом, с твердым мужским дезодорантом, с пачкой презервативов, с тампаксами и прокладками, имеющими такие крылышки, что можно летать хоть весь день.

Мы выбираем место на одинокой лужайке, за кустами, роняем на порыжелую траву наши байки, отдыхаем. Солнце все выше, тень все короче. Микаэла отщелкивает от рамы походную

бутыль, жадно пьет из горла, протягивает мне. Я пью – не брезгую. Даже наоборот. Так нужно. Микаэла скидывает рваные тапки и остается в белоснежных носках. Теперь ее ноги с побитыми коленками почти привлекательны. В раструбе шорт, в коническом сумраке – край трусишек. Тоже белоснежных. Комарик, схватив фонарик, запевает у меня в груди. Со смущенным вздохом я скидываю футболку, ложусь навзничь возле Микаэлы и, оперевшись пятками в траву, укладываю затылок на ее ногу. Глаза закрыл – будь что будет. Грудь у меня мужественная, прием проверенный.

После некоторой паузы шершавая ладонь матери троих детей касается моей щеки:

– Петер, у вас нет женщины. Я понимаю. Вы хороший, Петер. Вы друг нашей семьи. Но если у нас с вами будет коитус, я должна буду рассказать мужу. Когда мы женились, мы дали слово во всем признаваться друг другу. И я горжусь тем, что еще ни разу ничего не утаила.

Я убираю голову из-под ее руки, сажусь. Срываю жесткую желтую травинку и прикусываю, глядя в камфарно-эвкалиптовую даль.

– Напрасно вы так делаете, Петер, – мягко, как психиатр, говорит Микаэла. – Совершенно напрасно... В сухих стеблях травы живет много вредных насекомых.

На обратном пути я нажимаю на педали и ухожу далеко вперед, но на ее улице беру себя в руки и жду.

– Уф! – вырывает из-за поворота мокрая растрепанная Микаэла. – Вот это финиш! Ну и задали же вы мне урок. Так мне и надо...

Видимо, кто-то из нас сбрендил.

– Нет-нет, так мне и надо, – убежденно трясет головой Микаэла. Похоже, ей сладко ее поражение.

Мы закатываем байки во двор, где меня обрехивают две хозяйские шавки.

– Не бойтесь, они не кусаются, – говорит Микаэла как раз в тот момент, когда одна из шавок довольно чувствительно прикладывается к моей лодыжке.

– Приходите еще! – протягивает мне руку Микаэла, – мы с Майком так вам рады.

Я представляю себе, как ступаю на крыльцо, открываю дверь, и Майк, не вставая с софы и не надевая шлепанцов на свои ухоженные ступни, всаживает в меня одна за другой две пули из охотничьего ружья, купленного по этому случаю.

* * *

Патриция часто выглядит плохо. Ее больным легким противопоказан солнечный Лос-Анджелес, и, если не надо преподавать и куда-то ехать за пополнением ветчины и красок, она отлеживается в своей закухонной каморке, включив увлажнитель воздуха. В такие дни ее взгляд делается беззащитным – ей хочется заботы, покровительства, ей хочется, чтобы рядом был сильный, все понимающий, все умеющий человек. И она неуверенно смотрит на меня. Видимо, я ей иногда кажусь таковым, и она становится искренней до той страшной степени, какая возможна только между очень близкими людьми. В одно из таких утр, когда воздух – это не воздух, а сгусток смога, дымовая лепешка поперек твоего горла – ее испекли трубы военных заводов, каковыми напичкана округа, – в одно из таких утр Патриция рассказывает мне историю жизни с Роном Мацушимой. Рассказывает она долго, чего-то делая попутно, переходя от предмета к предмету, а я слушаю в смущении и если моя помощь в том, чтобы поддержать в руках гипсовый слепок чужой муки, то цель достигнута.

– Зачем я все это тебе рассказываю? – время от времени спохватывается Патриция, но не может остановиться. – Я этого никогда никому еще не рассказывала.

Что это для меня – большая честь или большое унижение? Скорее унижение. Для нас двоих. Я бы такое не рассказал. Или разве что лишь своей собаке. Может, для Патриции я и есть такая собака – существо с непонятными мозгами, из другого измерения.

И когда Патриция рассказывала мне историю бесконечного в своем разнообразии унижения – унижения супружеской жизни, в которой она перестала чувствовать себя женщиной, вина в этом Рона, я думал: мы унижены настолько, насколько позволяем себя унижить, или даже так – насколько хотим быть униженными. А идем мы на это унижение потому, что нам страшно жить в одиночку, свобода для нас – это камера пыток.

Но главная вина Рона Мацушимы, тогда ее законного супруга, была в том, что он совращал ее дочь, свою падчерицу, девочку-подростка.

И вот он вдруг приехал ко мне. Задумался, как я тут. Возможно, чем-то я ему напомнил его самого. Или он просто мне посочувствовал. Прилетаю за тридевять земель, сплю на раскладушке, ем вместе с кошками, слушаю эту сумасшедшую Пэтти. Только мужчина с комплексом неполноценности может на нее клюнуть. Короче, я ему любопытен.

– Петъя, – постучала ко мне в дверь Патриция, неуверенно встала на пороге моего мужского одиночества, просияла, даря хорошую новость:

– Петъя, Рон хочет провести с тобой день. Ты ему очень понравился. Он хочет говорить с тобой. Потом повезет тебя пообедать в какой-нибудь ресторан. Заодно посмотришь Лос-Анджелес – Рон живет в хорошем районе...

Идея, что мы будем вместе, почему-то греет ее. Вдруг он пригласит меня пожить у него с полным пансионом.

Всех, кто проявляет ко мне интерес, я теперь оценивал по их машинам. Как тут ни крути, рассчитывать на удачу можно было лишь рядом с благополучием. Машина у Рона была, конечно, не такой, как у Патриции и даже Кэррол. Круче. Правда, у нее было побито заднее левое крыло. Но Рон сам его выправил, сам загрузил пастой, отшлифовал – оставалось только покрасить. В мастерской ремонт обошелся бы ему в долларов триста, а так – не больше пятидесяти. Дорожный инцидент? Да нет, кто-то вез ящики на тележке – они и посыпались на его «форд». Наверное, это было очень смешное зрелище, потому что Рон засмеялся. Он смотрел на меня живым заинтересованным взглядом, будто я вот-вот выкину что-то особенное.

С Роном мы побывали в его любимом музее американских индейцев. Видимо, он чувствовал себя их братом – резервация напоминала ему о колючей проволоке детства. Музей был расположен на высоком холме, откуда открывался вид на Лос-Анджелес, похожий отсюда на расплывшийся по сковородке пупырчатый блин. Музей утверждал сравнительно новую для Штатов концепцию отечественной истории, где индейцы больше не были кровожадными дикими убийцами, сопротивлявшимися цивилизации белых, а даже наоборот – оказывались носителями высокой культуры, морали и религии.

После музея мы покатали в город, вернее, куда-то в район Лонг-Бич, с аккуратными улочками, полными магазинов и ресторанов.

– Я часто приезжаю сюда перекусить, – сказал Рон. – Ты не проголодался? – спросил он меня. – Если да, то мы зайдем в ресторан.

Глотая слюну, я сказал, что оставляю это на его усмотрение.

– Тогда еще покатаемся, – сказал Рон, – пока светло, – и нетерпеливо поерзал в кресле. Казалось, что он ждет от ближайшего часа какого-то приключения, которое вполне может случиться с двумя холостяками. Но для этого, насколько я понимал, надо бы вылезти из машины и вступить в контакт с окружающей публикой. Однако вылезать Рон не хотел – похоже, опасался, что это ввергнет его в непредвиденные расходы. Он и так уже шарахнул на меня десять долларов за билет в музей. То слева, то справа возникал пустой беспокойный океан, пустые зимние пляжи,

где еще недавно кипело празднество жизни. Неснятые полосатые тенты трепетали на ветру, жизнь переместилась от воды под навесы, крыши, за стеклянные витрины. Тепло, но не греет, светло, но не видно, или видно, только не мне, потому что все это пока мимо и не про мою честь. Куда же, куда же ты правишь, Рон? Что ты так настойчиво высматриваешь за лобовым стеклом, может быть, розовый лобок юной блондинки ценой в пятьдесят долларов?

– Была у меня девочка, блондинка, – как на сеансе телепатии говорит вдруг Рон, кивнув на кокетливый ресторанчик, стоящий на отшибе посреди пустыря – ни людей, ни машин... – Ходили сюда. Ты любишь блондинок или брюнеток?

– Я люблю их не за это, – отвечаю я.

Рон долго и заразительно смеется, азартно блестя в мою сторону понимающими глазами. Но радовался он не абстрактно, а конкретно. Похоже, я ответил на мучивший его вопрос, – он понял, что с Патрицией я не сплю.

Стремительно вечерело, и когда мы остановились на берегу океана в районе набережной Белмонт, с неба уже перетек за край горизонта последний свет. Зажглись искусственные огни. С наступлением ночи Лос-Анджелес, говорила Патриция, переходит в руки бездомных, но на набережной их не было видно. Одинокие парочки бродили тут и там, сидели на скамейках или под кустом.

– Прекрасный вечер, джентльмены! – пророкотал тучный негр на роликах, послав нам улыбку из растворивших его сумерек. Похоже, принял нас за голубых.

С океана дул холодный ветер, и из тьмы к едва подсвеченному огнями города пляжу выкатывали длинные белые полосы волн. Мы перешли мост и ступили на пирс. Здесь роилась тихая вечерняя жизнь – из недорогих забегаловок веяло на нас недорогой же, но вкусной едой.

– Ты хочешь есть, Питэр?

– Как ты.

– Я пока нет.

Значит, наш вечер, закончится не здесь, а в настоящем ресторане – видимо, Рон добирал для аппетита впечатления и усталость. Поодаль на пляже вздувался огромный купол из брезента на опорах. Оттуда доносилась музыка – цирк... Может быть, даже наш, российский. Мы – признанные трюкачи, наша жизнь – сплошной цирк. Хорошо бы зайти – может, им нужен еще один униформист, конформист, гетероморфист?

По пирсу бродили охочие до экзотики иностранные туристы вперемежку с бомжами. Последние выглядели страшновато, но никто ни к кому не приставал. Уличный музыкант играл на обрезках труб, подвешенных к перекладине. На профессиональном языке – колокола. Каково таскать на себе всю эту сантехнику... Звук у трубок был холодный, металлический, похожий на этот ветер.

В предвкушении ресторанный обеда-ужина я пересек в машине Рона весь Лос-Анджелес в обратном направлении, затем мы докатили до Южной Пасадены и почему-то оказались возле нашего дома.

– Лучше поедим у Патриции, Питэр! – подмигнул мне Рон.

У нее мы и пообедали, то есть поужинали, – скромными остатками того, что обнаружилось в холодильнике после молчаливых Тришиных поисков.

Я понимаю, что значит быть бедным. Это испытывать обиду. Думать, что тебя обделили, что кто-то тебе что-то недодал.

* * *

– Да, забыла сказать, тебе вчера звонила Стефани, – сообщила мне Патриция за утренним кофе.

– Какая Стефани?

– Не знаю. Я думала, ты знаешь. Звонила, сказала, что хочет пригласить тебя на обед. Она англичанка. Видимо, ей интересно поговорить с русским...

– А откуда она взяла мой телефон? – спросил я, больше не веря в бесплатные обеды.

Патриция пожала плечами и, открыв холодильник, достала для своих котов мою ветчину. Мою, потому что она ее не ела, а у котов ведь была и кошачья еда. Похоже, Патриция была озадачена звонком гораздо меньше меня. Что за Стефани? Зачем я ей? Ну, конечно, слух обо мне уже прошел по всей Палм-стрит великой. Русский на Палм-стрит. Дети, родители, друзья родителей, друзья родительских друзей...

Коты гибко ошивались возле бледных веснушчатых ног Патриции в приятном возбуждении – заодно оглаживаясь и о мои ноги, словно чувствуя, что просто так, на халяву, у меня ничего не допросишься. Прибежала соседская дворовая собачка по прозвищу Тайни, то есть Малютка, серенькая помесь болонки с терьером, ушки торчком, и как бы старомодно одетая. Когда резали ветчину, она, где бы ни бегала, всегда оказывалась тут как тут – будто между нею и ветчиной был секретный канал связи. Коты не обращали на нее внимания.

– Тайни?! Ты опять здесь!– говорила Патриция, выделяя горстку ветчинных кубиков и для нее. Впрочем, иногда в ее подносящей руке я прочитывал сомнение: что это, в самом деле, хозяева не кормят? Тайни была вполне благополучной собачкой. Другое дело – забитый, вздрагивающий, ежесекундно готовый к паническому бегству котик Даниэль, несчастное альбиносное существо, живущее через дорогу у мексиканца, уборщика улицы. Этого мексиканца Патриция ненавидела, потому что тот ненавидел животных. Когда он мел улицу, все, кто вел в окрестностях четвероногую жизнь, старались не высовываться. Однажды Патриция собственными глазами видела, как он огрел метлой бедного Даниэля. «Мне хотелось вырвать у него из рук эту метлу и самого его бить, бить, пока он не побежит на четвереньках». Мелкие жиденькие кудерки Патриции распрямились, ошетились, и в глазах ее горел темный огонь мщения за всех униженных и оскорбленных. Точно с таким же видом она говорила накануне вечером нам с Роном об этих сволочах белых американцах, загубивших чудесных, чистых и невинных, как дети, индейцев.

Коты Патриции были терпимы и к Даниэлю, и вздрагивающий озирающийся Даниэль под ласковые поощрительные призывы Патриции взлетал на холодильник, тронное место Мацумимы, и торопливо припадал к лакомству, из-за расшалившихся нервов едва ли ощущая его вкус.

Тайни понимала, что я иностранец, и не делала попыток переступить разделявшую нас черту. Я ел, а она, американка, просто стояла и наблюдала, не теряя при этом достоинства. В конце концов я не выдерживал и делился с ней. Однажды я все-таки одержал верх в этом психологическом поединке и ничего ей не дал. Тайни постояла в тишине, а потом повернулась и потрусилась во двор, маленькая, независимая, в своей старомодной шубке и старомодной шляпке.

Каждый день радио приглашает меня в Лас-Вегас – всего тридцать долларов на автобусе и ты богат. Я задумываюсь – а почему бы нет. У меня осталось всего двести пятьдесят долларов.... Пятьдесят я шарахнул на теннисную ракетку. Реклама в газете гласила, что только сегодня вдвое дешевле. Патриция подтвердила, что так бывает, и свозила меня в магазин. Она радовалась, что я сделал хороший бизнес. Говорила, что теперь я приобрету на corte новых хороших друзей. Это и есть моя цель.

Вечером мы занимаемся русским языком.

– Где живет этот господин?

– Этот господин живет за углом.

– У меня есть два карандаша и три ручки.

Маловато.

О Стефани больше ни слуху, ни духу, и я понимаю, что из Патриции неважная сваха.

* * *

Теннисные корты у нас неподалеку – судя по бесплатному входу, муниципальные. Сами корты были заняты и я с час поколотил в бетонную стенку, за которой смешанная команда мальчишек и девчонок играла в бейсбол. Американцы любят мячик, мяч, резиновую грушу – любят бросать и ловить. Это у них национальное – хорошо бросить, хорошо поймать. На первом корте давал урок тенниса двум зрелым теткам молодой тренер-крепышок, похожий на гималайского медвежонка панду. Я не понимал ни одного слова из его отражающихся от бетонной стенки команд, но, судя по полету мяча, он говорил правильные вещи. Тетки очень старались. Приглядевшись, я понял, что не буду предлагать им бесплатные уроки.

Жарко, солнечно. Ослепительно-солнечно. Качаются мохнатые удила пальм. В небесной лазури купается спортивный самолетик – то припускает к хребту Сан-Габриэл, то повисает над головой. Время от времени синей стрекозкой стрекочет легонький домашний вертолет. В американском небе всегда много чего – присмотришься и насчитаешь одновременно штук пять разных там боингов и дугласов, бороздящих небо на разной высоте и в разных направлениях, не говоря уже о прочей мелюзге.

– Good buy! – говорю я уходя. Мне кивают.

Дамы и господа, я умираю от одиночества.

Вечером приезжает на ночевку Каролина. Я раскладываю ее раскладушку, я приношу ей железнодорожный сверток из одеяла и матраса, хранящийся в моей комнате. Она ставит по краям два стула. На одном – ее очки и книга. На другой она сложит свою одежду. Когда я выйду, она вынет свои зубы. Или это керамика на цементе?

На следующий день после обеда Каролина заезжает за мной. У меня уже все готово. Сумка сложена, в ней ракетка и пяток теннисных мечей, которые я подобрал в закутке за оградой – хозяева почему-то за ними не лазают. Мы торопимся, путь неблизкий и нам до часа пик надо проскочить все эти хайвеи.

На хорошей скорости, спокойно и основательно, мы пересекаем Лос-Анджелес (Эл-Эй) – Каролина за рулем так же респектабельна, как ее улыбка. Я первый раз всецело на ее попечении, и она пестует меня, как опытный воспитатель. Она спрашивает про Россию – я отвечаю. Господи, как мне все это надоело. Она спрашивает, куда мы идем. Она жалеет наш недопостроенный социализм. Церкви, к которой она принадлежит, близок социализм. Верно, социализм – это религия. Религия коллективных сборищ и затверженных молитв, пустых прилавков и анафемы за вероотступничество. Сегодня на Невском сопляки, не знающие, что такое двухчасовая очередь за сосисками и десять лет тюряги за один доллар в кармане, размахивают красными большевистскими флагами. Чего нужно моему народу? Он сбрендил.

– Народ всегда прав, Петер! – серьезно возражает мне Кэррол, и в плечах ее чувствуется решимость защищать попранные духовные ценности моей трахнутой Родины. Похоже, она причисляет меня к тем, кто разрушил мечту человечества о новой лучшей жизни, где царствует закон справедливости, где нет ни бедных, ни богатых, ни голодных, ни бездомных.

Наконец и Хантингтон-Бич – район, где живут обеспеченные люди. Мы вырливаем на пятачок, окруженный розовыми стенами. Над ними – оранжевая черепица крыш.

– О, Фрэнк уже дома! – радостно восклицает Кэрол, останавливаясь возле пикапа с открытым кузовом. – Это его машина.

Фрэнк встретил нас в гостиной. У него было крепкое красноватое лицо и твердый взгляд маленьких светлых глаз из-под белесых ресниц. Он был простужен – потерял голос и сипел. Он вызвался показать свой дом, которым гордился. Купил его два года назад за триста тысяч долларов. Я присвистнул, давая понять, что разбираюсь в ценах.

– Соседу повезло больше, – кивнул Фрэнк в сторону соседской крыши. За такой же участок и такой же дом сосед Ivyложил на двадцать тысяч меньше. В сипе его прозвучало сожаление – собственная покупка не казалась ему идеальной. За домом с тыла был каменный забор, впрочем, не такой высокий, чтобы через него нельзя было перелезть. За стеной тянулся сухой канал, видимо, наполнявшийся в часы прилива. По ту сторону канала за таким же забором розовели такие же добротные дома. Сад и огород. Весь участок, включая землю под домом, был соток шесть, не больше. Впрочем, земля Фрэнку не принадлежала. Она сдавалась в аренду. И если дом покупался как бы раз и навсегда, что за землю надо было платить землевладельцу всю оставшуюся жизнь.

– Наверно, землевладельцы – самые богатые люди, – сказал я.

– О! – воскликнул Фрэнк, из чего я заключил, что к богатым он себя не относит.

У Фрэнка был свой бизнес – подъем и транспортировка разбитой на дороге техники. Сначала полиция, спасатели и скорая помощь вытаскивают трупы из-под обломков, а затем очередь Фрэнка. Чем больше аварий, тем больше прибыль. Дом у него был круче, чем у Микаэлы. Картины, книги, мягкая мебель – чтобы удобно развалиться, вытянув перед собой ноги. Каролина отвела меня в «мою» комнату.

– Здесь я живу, – сказала она. – А эти два дня я посплю в гостиной.

– Может, сделаем наоборот? – сказал я.

– Зачем, – улыбнулась она улыбкой хозяйки. – Так будет удобнее, – она явно гордилась окружением, и даже как бы выросла в собственных глазах.

Моя комната была маленькой, теплой, старушечьей. Комод, кровать с высокими белыми спинками, штук двадцать подушек для всех поз ревматического уюта, ковер, телевизор, окно во всю стену за металлическим жалюзи. Я потянул за веревочку – жалюзи приподняло с полсотни прямых своих век, показав уже знакомый садик, залитый поздним солнцем.

Вдалеке за дверью раздался серебристый смех, и я понял, что это приехала хозяйка. И по смеху понял, что она мила. Сердце мое застучало сильнее.

Кристина стояла на кухне, доставая из пакетов купленное для предстоящего обеда. Она открыто улыбнулась мне и протянула узкую, нежную, но энергичную руку. На первый взгляд ей можно было дать не больше тридцати, и только внимательно приглядевшись – на десять лет больше. Как все деловые обеспеченные американки выглядела она отменно. Если бы такая женщина пригласила бы меня в Штаты, жизнь моя уже определилась бы. До того, как протянуть мне руку, она прижалась щекой к щеке сопровождавшего меня Фрэнка, и я понял, что они любят друг друга. Странно, но сердце мне уколола ревность.

Она сразу заговорила о России. Я знал, что они с Фрэнком – люди серьезные, и на всякий случай приготовился к солидным ответам, в которых умеренный критицизм сочетался бы с умеренным патриотизмом. Американцам я был интересен лишь постольку, поскольку был оттуда, был журналистом, в общем – ровней. Признайся я, зачем я здесь, и сразу превратился бы в ничто, в shit.

Во входную дверь стукнули бронзовой, под старину, скобой.

– Это Бесси! – сказала Кристина, и Фрэнк пошел открывать.

– Какая Бесси? – спросила Каролина, которая больше никого не ждала и теперь одобрительно раскладывала по отделениям и полкам холодильника содержимое пакетов.

Фрэнк вернулся с, что называется, очаровательной блондинкой, похожей на куколку, не новую, но весьма ухоженную. Куклка была в спортивном костюме из розового невесомо-пушистого хлопка. Завидев меня, она заулыбалась во весь рот ухоженными зубами, смело подошла и протянула руку. Рука ее меня озадачила – рука женщины в годах.

– Так вы русский? – спросила Бесси, глядя на меня во все глаза и явно возбужденная такой экзотикой. – Как это интересно! Это ужасно интересно! Вы мне должны все рассказать – все, все!

Голубые глаза Бесси с чуть припухшими нижними веками – сама доброта и чувственность – были полны таким теплом, что какой-то момент мне показалось, будто я перепутал хозяек, и теперь надо начинать сначала.

Я ответил и на ее вопросы, для разнообразия – более развернуто. Бесси слушала меня с восторгом, чуть ли не в экстазе. Как если бы я был говорящим тюленем.

От обеда с нами она отказалась, пообещав заглянуть позднее, и ушла, глянув на меня нежно, как на витрину бутика Версаче.

Кристина создала из нас команду по готовке обеда. Я мыл и нарезал овощи. Совместное действие приобретало ритуальный характер. Оказалось, что Кристина учится на священника в той же Новой церкви, к которой принадлежала Каролина. А вообще служит в крупном банке помощником вице-президента. Если мне интересно, она может показать мне свою работу. Конечно! – профессионально загорелся я. Нам, журналистам, все интересно. Получалось, что я как бы собираю материал для книги об Америке.

Кэрол и Крис были большими подругами. Они вели нескончаемый диалог и на каждой второй фразе Крис заливалась смехом. Смех этот был как серебряный звенящий ручей с отголоском слез. Каждый раз душа моя, замирая, отзывалась на него и я невольно улыбался. Тоже как бы сквозь слезы. Где-то рядом над нами витала моя безумная надежда, жадно вслушиваясь в эти звуки, ища паутинные трещинки и крошечные каверны в этом дивном семейном сосуде. Как профессиональный вор я чувствовал, что в этом доме есть что украсть. Искоса, исподтишка, тяжелым взглядом собственника, еще не вступившего в свои права, я следил за Кристиной. Она была светла и прозрачна. И хотел я ее чисто – как в детстве. Взять за руку и полететь.

Обед был обильный, но странный. Гора прекрасных, переведенных зазря продуктов. Овощи соленые, овощи сладкие, овощи с соусом, овощи без. И еще погонные метры спагетти с овощной приправой. Я до отказа набил желудок, но не наелся. Тут следили за собственным весом, рассчитывали каждую калорию. Крис была явно озабочена намечающейся полнотой, которую я бы воспел в венке сонетов. Фрэнк абсолютно совковским жестом достал откуда-то из заглазника бутылку ликера, и все по случаю дорогого гостя позволили себе приложиться. Я заметил, что мы с Каролиной получали от спиртного больше удовольствия, чем хозяева.

После обеда подруги занялись чисткой и уборкой кухни, а я отправился в свою комнату, включил телевизор, от которого успел отвыкнуть у Патриции, и пробежался по каналам. Не знаю, чего я хотел увидеть. Ту же самую рекламу? Актеры-взрослые и актеры-дети, холеные и сытые, то и дело что-то поглощали, плотоядно жмурясь и облизываясь. Откуда только брался у них этот зверский аппетит?

Энергичный Фрэнк, воспринявший мое уединение как укор в свой адрес, вежливо постучав в дверь, просипел, что едет в свой спортивный клуб поправлять здоровье. Не составлю ли я ему компанию? Праздник жизни продолжался.

Прихватив большие мохнатые полотенца, мы вышли из дома. Уже успело стемнеть – на западе небо еще розовело, а над головой было темно-синим, чистым и пустым. Ни облачка. Я тайком оглянулся, вычисляя дом Бесси, но все они были почти одинаковы. Фрэнк с любовью похлопал по капоту свою машину, мы забрались в кабину, вырулили на трассу и помчались среди

машин, вечерних огней и дорожных светофоров. На тротуарах – никого: на своих двоих здесь мог оказаться только бедняк. В сгущающейся темноте, подсвеченной огнями всех цветов радуги, мы въехали на автостоянку под спортклубом и припарковались рядом с приземистой хищного вида черной спортивной машиной с большими колесами и гоночными обводами. «Корвет», – прочел я.

– Дорогая штучка, – перехватив мой взгляд, комментировал Фрэнк. – Сто пятьдесят тысяч долларов.

– Я читал, что американцы считают глупостью покупать машину дороже 50 тысяч.

– Если есть деньги, то глупо не покупать то, что тебе нравится, – возразил Фрэнк.

Мы захлопнули дверцы и пошли из гаража. Тут и там подъезжали и парковались машины. Из них выходили молодые люди в спортивных костюмах. Трудовой день окончен – пора и размять затекшие члены. На лице каждого было написано чувство собственного достоинства. Казалось, передо мной проходит самый цвет американской нации, ее гордость и завтрашний день. Молодость здесь обладала всем и сразу. Не надо было вкалывать всю жизнь, чтобы наконец упаковаться. Ты входил в этот мир уже упакованным, а потом только набирал обороты – менял работу на работу, машину на машину, дом на дом... Господи, я опоздал сюда по крайней мере на двадцать лет.

Стеклянный двухэтажный куб спортивного клуба, весь во флагах, вымпелах и огнях, впускал в себя молодую элиту. Не успел я пройти вслед за Фрэнком турникет, как передо мной вырос атлетического сложения молодой человек – смотрел он на меня вопросительно, но дружелюбно.

– Это мой русский друг, – сказал ему Фрэнк, доставая из кармана пропуск. – Я звонил, предупреждал.

– А, русский, – осклабился атлет и сделал шаг в сторону, приглашая проходить.

В раздевалке было полно молодых мужественных людей – воинов американского прогресса. Щелкали, открываясь и закрываясь шкафчики, из душевых выходили мокроволосые атлеты, растирая свои тренированные тела. Каждый гордился собой.

– Вот наш шкафчик, – сказал Фрэнк. – Сложи одежду, а ключ я возьму с собой. Чтобы ничего не пропало.

Странно было думать, что здесь что-то может пропасть.

– Я буду в парилке, – махнул рукой Фрэнк в неопределенном направлении. – Буду дышать паром. Сначала мокрым, потом сухим. Заглядывай. А вообще тут тренажеры, бассейн, джакузи, беговая дорожка – выбирай что хочешь...

И он исчез.

Он явно переоценил мою цивилизованность – сделав несколько самостоятельных шагов, я растерялся. Я никогда не был в таких клубах, я никогда не был новым русским, и почувствовал себя, как мышонок, случайно выскочивший на середину освещенной кафельной кухни. В одних плавках с огромным полотенцем на плече, я мучительно соображал, с чего начать, чтобы выглядеть как все и не привлекать внимания. Начать, видимо, следовало с душевой. Душ был управляемый – пучком струй можно было распоряжаться по своему усмотрению. Розовый шампунь для головы, голубой для тела. Или наоборот. У каждого свой запах. Все познается в сравнении. Последнее, с чем можно было сравнивать, – это ванная Патриции.

Благоухающий, пьяный от чистоты, я, пошатываясь, вышел из душа и осторожно двинулся дальше. Вокруг были стеклянные стены, со стеклянными же дверьми, однако на многих было написано, что ими можно пользоваться лишь в крайней случае, а я не был уверен, что такой случай наступил. Так и не найдя легального прохода в бассейн, я бочком протиснулся в запасную дверь, поддавшуюся с неохотой и явным осуждением, и оказался над мерцающей водной гладью. Три японца задумчиво меряли его вдоль и поперек, как бы выполняя внутреннее задание. Один из

них без выражения посмотрел на мои ноги в кроссовках. Я тоже посмотрел и понял, что должен быть в шлепанцах. Меня обдало жаром и я попятился, не дожидаясь, пока выставят отсюда за нарушение порядка. Однако в обратном направлении моя дверь не открылась и я двинулся вдоль стены, напустив на себя задумчивости и рассеянности не отошедшего от дел интеллектуала. Вещь в себе. Однако во мне не было ничего, кроме паники. Где Фрэнк, что же он мне ничего не объяснил? Еще немного – и за мной явятся с наручниками, арестуют и увезут.

Стена вдруг расступилась и я оказался в огромном тренажерном зале. Позванивало неподъемное железо, стонали пружины, вздыхали поршни, потели подмышки, кто-то устанавливал личный рекорд в жиме лежа, кто-то стоически пытал себя на сложном устройстве, похожем на дыбу. Зеркальные стены повторяли схватку мышц с железом в духе знаменитого алтаря из Пергама. Я поймал на себе несколько взглядов – что-то опять было не так. На сей раз я довольно быстро ретировался в первую попавшуюся дверь и с облегчением узнал свою раздевалку.

– Могу ли вам помочь, сэр? – вежливо склонил ко мне голову молодой гигант в спортивном костюме, однако во взгляде его я прочел беспокойство. Я уже засветился и не лучшим образом.

– Нет, все в порядке, – сказал я.

– В тренажерном зале нельзя без футболки, – сказал он.

С тоской в сердце я посидел перед закрытым шкафчиком, не уверен, что нашим, и пошел искать Фрэнка. Ступеньки лестницы вынесли меня на второй этаж, где в меня чуть не впилилась группа бегунов, летящих по резиновой дорожке в узком тоннеле коридора. Отпрянув к стене, я увидел в центре же за стеклом представительниц прекрасной половины человечества, отягощавших себя половиной того же железа. Появление здесь без футболки в одних легкомысленных плавках было и вовсе чревато... и я поспешил вниз, подальше от греха, успев однако на мгновение побыть тренажером под оседлавшей его высокогрудой красоткой.

Призвав на помощь остатки интеллекта, я ухитрился снова попасть в помещение бассейна, где те же три азиатских лица, как три луны бесстрастно повернулись в мою сторону. Чем-то я от всех отличался. Все были как в церкви, а я как в цирке. Судя по моему экстерьеру, бассейн был единственным местом, где я выглядел более или менее органично и я нехотя влез в довольно холодную воду, приванивающую хлоркой. Вяло доплыв до противоположного конца, я заметил, что японцы уже успели вылезти, и я опять остался один-одинешенек, как Робинзон Крузо. Чтобы не привлекать внимание, я тоже вылез. Мне срочно была нужна тусовка таких же, как я, – в плавках.

К счастью, я тут же набрел на джакузи, о которой говорил Фрэнк, – крошечный, три метра на три, бассейн с бурлящей от пузырей подогретой водой. В нем сидели три моих японца, посмотревших на меня снизу уже со знакомым мне выражением беспокойства. Ободряюще улыбнувшись, я присоединился к ним. Ух, здорово! По спине, груди и ногам понеслись пузырьки, будто хотели приподнять и понести на себе, как тысячи воздушных шариков. Наконец-то я почувствовал себя нормальным человеком. Я на секунду закрыл глаза, а когда открыл, японцев рядом уже не было. Они выскакивали один за другим, как пингвины, за которыми охотится китовая акула. Это уже было за гранью. Не мог же я допустить, что Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с места они не сошли. Но демарш японцев я воспринял спокойно, несмотря на то, что они уже скупили половину Калифорнии. Все-таки гости, как и я. Сделав вид, что все мне по фене, я еще минут пять оттягивался в многочисленной компании горячих пузырей, а потом вылез, растерся с ясным сознанием того, что все делаю правильно, и тут в молозиве стеклянной стены напротив, как лик божий в облаках, вдруг прорисовалась красная распаренная физиономия Фрэнка. Он подмигнул мне, дескать, как я там? – и я с облегчением поднял большой палец, разом простив ему все свои мытарства.

На обратном пути мы успели поговорить за жизнь. Я-то думал, что он просто рубаха-парень с кругозором автомеханика, а оказалось, что он прежде практиковал как врач-психиатр, а теперь вот, как и Крис, закончил пятилетние курсы священнослужителей при Новой церкви и на днях должен выступить с первой своей проповедью.

– А сейчас ты практикуешь как психиатр? – спросил я, больше всего впечатленный этой его специальностью.

– Нет! – энергично мотнул он головой. – Это пройденный этап.

– Что значит пройденный?

– Для меня пройденный, – просипел Фрэнк. Впрочем, благодаря парилке, в голосе его вдруг прорезались две-три звонкие ноты. – Медицина без веры, психиатрия без религии – это варварство. Человек болеет чаще всего потому, что неправильно живет. Неправильно мыслит, чувствует, понимает. То, что у него болит сердце или желудок – это уже следствие, а не причина. Зачем лечить следствие? Надо лечить разум, душу, настрой на жизнь. Мы лечим словом, а не таблетками... Все тут, – наставительно постучал он по виску.

Короче – каждому по вере его. Свеженькая идея. Похоже, Фрэнк пробовал на мне свою проповедь. Подъемные краны, Новая церковь, психоанализ. Свихнуться можно.

Дома Крис не оказалось – уехала читать лекцию, обещала вернуться через час.

– Ну как? – с торжеством даящего спросила меня Каролина.

– Потрясающе! – громко сказал я, чтобы и Фрэнк слышал. – На сегодня еще что-нибудь намечается? – я спрашивал специально для нее, полагая, что ей приятно будет ответить за хозяев.

– Нет, на сегодня все, – с легкой досадой ответила Кэрол, давая понять, что в доме Патриции я был куда как скромнее.

– О'кей! – с энтузиазмом сказал я, стараясь замазать оплошность, и пошел к себе.

По одному из каналов показывали довольно жуткую лабуду про гремлинов, очевидно, выходцев из Кремля, но едва я втянулся в сюжет, как снова раздался стук в дверь и Фрэнк, бросив педагогический взгляд на экран, предложил пройти с ним до видеосалона.

– О'кей! – согласился я, как бы радуясь новому повороту. А что мне еще оставалось?

В стеклянной коробке, кроме нас и двух служащих, больше никого не было. Фрэнк, не глядя, миновал стенды с эротикой, стенды с триллерами, стенды с космическими боевиками, детективами, музыкальными комедиями и лентами, нахватавшими до шести Оскаров, и остановил свой выбор на коробке с картинкой, на которой был изображен неказистый туземец.

– Вот то, что надо! – одобрительно сказал он. – Очень хорошая картина, – добавил он, очевидно, уловив сомнение в моем взгляде. – Я трижды ее смотрел и трижды смеялся.

Мой добрый друг считал, что я нуждаюсь в добром смехе и положительных эмоциях.

– Пойдем, Кэрол, посмотрим фильм, – сказал он, едва мы вошли в дом. Сидевшая в кресле Кэрол тут же отложила очки и книгу и изобразила самую готовность, чем напомнила меня самого.

Вслед за Фрэнком мы прошли в спальню хозяев, середину которой занимала супружеская постель, зона комфорта и безопасности. Она была просторной, как взлетная-посадочная полоса, и я заставил себя отвести от нее взгляд. Мы устроились на полу – на толстом красном ковре – и стали смеяться. Я старался смеяться вовремя, без задержки. В фильме рассказывалось о том, как в племя туземцев свалилась с неба бутылка из-под кока-колы. Вещь оказалась настолько ценной, что из-за нее все перессорились, и тогда вождь племени понес ее в город, чтобы отдать белому богу.

В середине фильма вернулась Крис, и Фрэнк отмотал его на начало. Теперь мы уже смеялись вчетвером, и это было много радостней, тем более, что теперь я уже почти все понимал. Плачущий серебристый смех Крис будоражил слух, вызывая неясные грезы. Мне хотелось, чтобы мы так и сидели на красном ковре и чтобы фильм никогда не кончался.

В середине картины раздался стук в дверь.

– Кто это может быть? – удивилась Каролина.

– Это, наверно, Бесси, – не удивляясь сказала Крис, и Фрэнк поднялся и пошел открывать. Отматывать на начало он на сей раз не стал.

В коридоре я услышал чуть хриловатый мяукающий голос Бесси, голос красивой избалованной вниманием женщины.

– А... вот что вы делаете! – с веселой завистью сказала она. На ней был тот же розовый спортивный костюм. – Где тут можно сесть? – Спрашивая, она задержалась возле меня, как бы ожидая приглашения.

В тот момент сердце мое еще принадлежало Крис, и я просто улыбнулся, подняв глаза. Может, поэтому она не стала садиться рядом, а легла на живот чуть впереди, явив мне две персиковые половинки своего задка. Черт и ангел сцепились во мне друг с другом и черт победил. Мысленно я попрощался с Крис и попросил у нее прощение. Персиковые половинки поощрительно подрагивали, когда их обладательница смеялась.

Все кончилось хорошо, и добрые люди взяли верх над людьми недобрыми, и маленький славный туземец, примерно моего возраста, вернулся в свое племя целым и невредимым, а мы, очарованные фильмом, почему-то не получившим ни одного Оскара, поднялись с красного ковра-самолета просветленные и готовые для добрых дел.

На часах была полночь.

– Ой, как поздно, а мне еще с собакой гулять! – озадачилась белокурая Бесси.

– Я вас провожу, – уверенно сказал я, рассчитывая на широту своих добрых хозяев.

– О, это будет так хорошо! – невинно воскликнула Бесси. – Пойду выведу собак.

И она поспешно вышла.

Что-то изменилось в атмосфере дома, но я не улавливал, в какую сторону. Гость делал самостоятельные шаги, хотя этого и не было в программе. Ну что ж, бог ему в помощь.

Я быстро надел кроссовки, а Крис, внимательно посмотрев на меня, сказала:

– Наденьте свитер, сейчас свежо.

– Надо дать ему ключи от дома, – сказал Фрэнк, явно переоценивая мою разворотливость.

– Зачем, я ненадолго, – сказал я.

– Хорошо. Постучите в дверь – я еще буду читать, – сказала Крис.

Одна Каролина не сказала ничего.

Снаружи было темно, прохладно и абсолютно безлюдно. Я оглянулся и понял, что не знаю, где дом Бесси. Все дома напротив были одинаковы. Входная дверь, окно и глухие ворота гаражей. Никто не зажигал на ночь свет у своего крыльца, как у нас в Пасадене, и от этого дома выглядели негостеприимно. Мне показалось, что я снова в спортклубе – нелепый, зависимый, никому не нужный. Оставалось только глупо вернуться.

Но тут одна из дверей напротив беззвучно отворилась, пролив на асфальт размытое пятно света из дальних комнат, и на пороге возникла знакомая фигурка Бесси в куртке. На поводке у нее семенила мелкая собачонка.

Сердце мое повисло в невесомости – как будто из-под него разом выдернули понурый куль бытия. Верный признак любовной интриги. Разве что совершенно непредсказуемой.

– Кто это? – сказал я, подходя.

– Ее зовут Сюзи, – протянула Бесси, сложив губы трубочкой.

Сюзи, йоркширский терьер, точная копия своей хозяйки, бросилась ко мне как к старому другу, забила хвостом, заприседала, не в силах решить, что лучше – вспрыгнуть на руки или опрокинуться на спину для ласки.

– Бесстыдница, – сказала Бесси, – нельзя так сразу признаваться в любви.

– Где мы будем гулять? – спросил я.

– Там, – махнула Бесси рукой.

Мы вышли к магистрали и медленно пошли по тротуару. Вокруг не было ни души – только машины стремительно прорезали тьму в двух направлениях, на мгновение выхватывая из нее нас двоих да собачку Сюзи, которая никак не могла решить, с какой стороны ей лучше бежать, и связывала нам ноги петлей поводка.

– Ну, рассказывай, – сказала Бесси.

– Что? – спросил я, полагая, что ей прежде всего интересен мой семейный статус.

– Все-все. Про себя, про Россию. Ты кто, чем занимаешься?

– Я журналист, – уверенно сказал я. – Собираю материал для книги об Америке.

– О! – с уважением протянула Бесси. Интересно, что бы она сказала, знай, что я получаю сто долларов в месяц.

– А про Россию, – помедлил я, – про Россию мне сейчас не хочется говорить. Потому что коротко не получится.

– О' кей, – сказала Бесси. – В следующий раз – но обязательно. Ты мне обещаешь?

Она спрашивала, встретимся ли мы снова.

– Конечно, – сказал я.

Сюзи снова опутала нас поводком, и я, решившись, положил руку на плечо Бесси.

– О, так хорошо, – отозвалась Бесси. – Тепло...

Тогда я обнял ее уверенней и Сюзи, похоже, наконец успокоившись, потрусила впереди нас по прямой.

– У меня такое чувство, – сказала Бесси, – будто мы давно знакомы.

– У меня тоже, – сказал я.

– Ты женат?

– Холост, – сказал я.

– А у меня взрослый сын. Ему двадцать.

– Не может быть! – искренне изумился я, попутно радуясь тому, что муж не был упомянут.

– Да, совсем взрослый. Сын у меня – что надо.

По-английски это прозвучало: «A great son».

Ее плечо, которое я как бы согревал, было послушно мне, и я почувствовал, что если попытаюсь ее поцеловать, она меня не оттолкнет. Но еще я почувствовал, что делать этого не стоит. Во всяком случае – сейчас.

Мы вернулись к ее дому, и в сердце у меня возникла пустота. Я знал, что через несколько минут оно заполнится ожиданием. Чего?

Того.

– Подержи Сюзи, я открою ворота, – сказала Бесси.

Ворота открылись, вернее поднялись, как козырек. В гараже зажглась лампа, осветив огромную округлую супермашину, розового, как мне показалось, цвета.

– Это твоя?

Бесси горделиво кивнула. Для того, видимо, мы и оказались здесь. За машиной, перед дверью в комнаты стоял очень старый бульдог серой в яблоках масти и пытался зарычать. Горло его булькало.

– Не бойся, он не кусается, – сказала Бесси. – Это Спайк. Он очень старый и слепой.

При звуке голоса Бесси, Спайк склонил набок голову, как бы обдумывая услышанное. Он был похож на Луи Армстронга и Диззи Гиллеспи, когда тот дует в свою загнутую кверху трубу.

– Ну, все? – вопросительно посмотрела на меня Бесси. – Сегодня я одна. У сына ночная работа, – она выглядела беззащитной. И, пожалуй, она хотела, чтобы я остался с ней. Но это было невозможно. Меня ждали, чтобы открыть входную дверь.

Я осторожно привлек Бесси к себе. Спайк и Сюзи молча стояли поодаль. Похоже, одобряли происходящее.

– Как хорошо с тобой, – сказала Бесси. – Тихо... спокойно...

– Мне тоже, – сказал я, чувствуя каждым нервом, что меня ждут в доме напротив.

– Мне пора, – сказал я. – До завтра.

Бесси послушно кивнула. Я осторожно прикоснулся губами к ее щеке – так целуют ребенка – и шагнул в темноту.

Прошло полчаса, приличествующих ситуации полчаса, после которых каждая следующая минута работала бы против меня.

Дверь открыла Крис. Остальные уже спали. Но она не поспешила в спальню к Франку – вернулась в удобное кресло, из которого ее вызволил мой тихий стук в дверь, и снова взялась за книгу. Впрочем, тут же отложила ее, тепло посмотрела на меня:

– Так какие у вас планы на эти дни?

Похоже, здесь меня принимали всерьез.

Я улыбнулся:

– Какие у меня планы... Мне все интересно.

– Хотите, я покажу вам завтра банк, где я работаю?

– Это было бы замечательно, – сказал я, чтобы вернуть потерянные очки, если я их действительно потерял.

– Тогда мы проведем завтрашний день вместе, – сказала Крис. – А сейчас можете отдыхать. Я положила вам два полотенца. Не обращайтесь на меня внимания – я люблю читать допоздна.

Мне хотелось остаться с ней, но я кивнул, пожелал спокойной ночи и пошел к себе. Постель была разобрана чьей-то заботливой рукой, уголок простыни гостеприимно отогнут, приглашая ко сну, и на атласе одеяла лежала ментоловая конфетка.

Ночью я проснулся от тонкого голоса – будто кто-то тихо плакал за стенкой в ванной. Я перевернулся на другой бок – кровать подо мной уркнула пружинами, и плач затих. Возможно, он мне приснился. Или меня, как уже бывало, разбудил собственный голос. Или это скулила заблудшая собачонка.

Утром мы неслышно летели над полотном шоссе в огромном серебристом «линкольне» – Крис и я. Я украдкой глядывался в ее чистый профиль, но ничего не мог вычислить плюс к тому, что уже знал. Подбородок у нее был легче, чем у Бесси, и не выдавал плотских желаний, линия сомкнутых губ нежна, но строга – как у человека, привыкшего контролировать свои чувства. Я абсолютно не представлял себе, что у нее на уме. Скорее то, о чем она в этот момент говорила.

Говорила же она о своей религии – о том, что пришла к ней слишком поздно, всего лет пять назад, но только с тех пор и начала жить, а до того как бы блуждала в потемках. Говорила, что мы рождаемся свободными, но нас вынуждают приспособливаться к тому, что было до нас. Оттого мы и страдаем. Чужое прошлое давит на нас и лишает крыльев. С детства нас начинают затачивать в клетку прошлого. Огромную роль в этом играет и традиционная церковь, которая вместо того чтобы духовно раскрепостить человека, закрепощает его, спекулируя на его грехах. Бог всех христиан превратился в надсмотрщика с кнутом.

Новая же религия, говорила Кристина, возвращает Бога на землю, поселяет его в вашем сердце. Царство Божие не на небесах, а в каждом из тех, кто готов преодолеть свои страхи, вызванные столкновением нашего «я» с якобы враждебным нам миром. Последний мы просто не знаем, как не знаем своих возможностей. Наш «мир» – это лишь то, что нам о нем поведали, лишь проекция заемного сознания. И нам очень трудно прорваться к самим себе и к подлинному миру, который вне нас. Мы заложники ложных идей, доставшихся нам по наследству. А они устроены так, чтобы мы постоянно в чем-то каялись, или чтобы нам постоянно чего-то не хватало, чтобы мы вечно искали. Поэтому мы озабочены, неудовлетворены, виноваты. Надо успокоить сознание, остановить его, сказать себе, что то, что сейчас во мне, и есть самое главное. Вот тогда и начнет открываться другой мир, в котором все связано со всем, и в котором наше «я» больше не одиноко. Успокоиться – это стать прозрачным. Не стоять стеной поперек потока жизни, а пропускать этот поток сквозь себя. Так возникает радость, так возникает созидательная цель. Только теперь мы идем к ней, освобожденные от навязанных нам комплексов. Почему дети счастливы – потому что для них все впервые, они растворены в мире и не знают, что было до них.

Голос Крис звучал как серебряный ручей, прозрачная струя слов падала в бочажок моей заблудшей души, но не она, а чресла мои замирали и млели от этой музыки.

– Все это довольно просто на словах, – говорила Крис, легко и безуильно держа свои прекрасные ухоженные кисти на руле (как я ему завидовал!), – но на деле... Пока человек заложник заблуждений и страстей, ему трудно взглянуть на себя со стороны, – она глянула на меня, увидела, что я, как замороженный, смотрю на ее руки и, похоже, смутилась.

Господи, прости меня, лукавого. Нельзя приобщить к вере за пятнадцать минут пути от дома до банка. Но вера была хороша – она включала в себя дом за триста тысяч долларов на Хантингтон Бич, просторную машину, в которой можно было заниматься любовью как вдоль, так и поперек, и парный абрис полных, но стройных колен под длинной шелковой юбкой Крис, темно-синей в белый горошек. Колени были скромно, для утренней прохлады, раздвинуты и я, зажмурясь, представлял себе полный головокружительных приключений и смертельных опасностей путь в запредельное царство к золотому руну.

Как это, не иметь страстей, Крис?

В банке меня удостоил вниманием сам шеф Крис, вице-президент, дав интервью, из которого я ни черта не понял, что, впрочем, мне удалось скрыть деловым наклоном головы над блокнотом, в котором я конспектировал услышанное. Крис следила за нашей беседой и, похоже, была мною довольна. Сорокалетний удачливый хек моржовый по имени Боб, с идеальным пробором волос и белоснежными манжетами сорочки, из которых он то и дело, сверкая гранями запонок, автоматически выдвигал, словно для боя, свои загорелые волосатые лапы, тоже следил – но за собой. Он себе нравился. Ему нравился его кабинет, его стол, его кресло, его банк, его счет в банке. Ему все удалось – он был моим антиподом, хотя и не знал этого. При этом он поразительно – по старику Карнеги – был доброжелателен и корректен, сопровождая почти каждую свою фразу рефреном «не правда ли?», словно давая нам с Крис образцово-показательный урок работы с потенциальным клиентом. Младшая служащая банка, потупленная мулаточка с обводами скаковой лошади, гарцуя, принесла нам кофе со сливками, и по тому, как вице-президент заставил себя не посмотреть ей вслед, я понял, что он с ней спит, хотя и не с ней одной. В ином измерении и я бы заторчал на мулатке, но, похоже, теперь меня возбуждала лишь недвижимость.

Интересное кино – пока я сидел у него в кабинете, я был выше всех прочих служащих, а выйдя, стал равен им, пока не переместился в кабинет Кристины, где снова обрел некий дополнительный статус. Нет, размышлял я, изучая вытасченную из компьютера распечатку с ее обязанностями перед директором, вернуться к Патриции – это снова стать дерьмом. Я должен был что-то сделать. Немедленно, пока меня еще возят на дорогах машинах.

Обязанности Крис Тилни, как наемной служащей высокого ранга, меня удивили и вдохновили одновременно. Это был как бы договор о добровольной неволе, за которую тебе платят большие или очень большие баксы. А как же растворение, преодоление пут, новое сознание? Это весы, решил я, две чаши. На них должен быть равный груз. Чем больше на одной чаше, тем больше и на другой. Вот почему Крис так ровна, прозрачна, лучезарна. То, что для меня неволя, для нее просто правила игры. Я должен был немедленно на новый манер перестроить свои куриные русские мозги.

Обедать она меня повезла в ресторан на берегу океана. Это была копия того ресторана, через который мы с Патрицией пробирались на пляж, но теперь не надо было мимоходом глотать слюнки – теперь все это было наше, мое. Коллеги Крис, молодые смазливые мудозвоны, тоже были здесь. Они аперитивничали, прежде чем перейти в основную залу, откуда зазывно пахло жареным мясом. Я с ними был уже бегло знаком.

– Ну, и как тебе наш Боб? – спросил меня один из них.

– Крутяк, пальцы веером, – сказал я, зная, что ответить. – Made in Hollywood.

Компания заржала. Видимо, я попал в тему. Вот жизнь! Завтра Боб примет меня на работу консультантом по России, а послезавтра я женюсь на Крис. Фрэнк, конечно, жалко, – он ничего плохого не сделал, но Фрэнк проживет и без Крис, а мне вот иначе крышка. Прощай, Патриша, ты сама должна понимать, что мне нечего было делать между твоих верблюжьих коленок.

Крис вывела меня на террасу под голубыми хлопающими на ветру зонтиками с видом на океан, села напротив. Так она и приезжает сюда или в более прекрасное место, чтобы подкрепиться. Что ты будешь есть, Пьетер?

Господи, ты больше, чем надо, даешь.

День занялся на славу, впрочем, как и все предыдущие дни, – солнечно, но не жарко, отдаленный осенне-горьковатый запах пожухлой листвы, ветряки пальм, тихие сонные вздохи океана, несущего к берегу длинные жемчужные ожерелья волн.

– Кажется, я начинаю понимать, что такое новое сознание, – киваю я, изо всех сил стараясь понравиться, зацепиться, заставить думать о себе, – это как океан. Он живет одновременно в двух разных полушариях и в двух разных временах года. У нас в голове одно следует за другим, потому что время мы воспринимаем как последовательную череду. И нам кажется, что настоящее вышло из

прошлого. При таком строе мыслей мы действительно не способны к обновлению. Но если прошлое и настоящее для нас одновременны, как зима и лето для того же океана, то...

Крис внимательно слушает, не торопясь перебить как Каролина. По ее глазам я вижу, что ей интересно.

– В самом любимом мною стихотворении русской поэзии, – продолжаю я, – герою так больно и так трудно, что он хотел бы забыться и уснуть. Он больше не хочет испытывать душевной боли, но и могила ему страшна, и он хочет просто полубыть и слышать сквозь сон прекрасный голос, поющий о любви. Да, прошлого ему не жаль, но и на настоящее у него нет сил. Это очень русская идея – жить, как во сне, с дремой о чем-то прекрасном... Так я и жил. Но теперь, – посмотрел я на Крис, – теперь...

Я не договорил, да это было и не нужно.

Какая-то длинная страшная история про сына Фрэнка от первого брака. Наркотики, передозировка или суицид. Вместе они отвезли его в госпиталь, где он стал умирать. И тогда она взяла его за руку, крепко взяла за руку, и читала молитву, и хотя он лежал в беспамятстве, с закрытыми глазами, внушала ему, что он не должен умереть, потому что они любят его, потому что он им нужен. И он вернулся из небытия, из комы, как сказали врачи. А потом рассказывал я – как два года назад умерла моя мать (отца я лишился еще в ранней юности), я же был в командировке в Чечне и меня нашли, лишь когда она была уже похоронена. Может, поэтому, в первый же вечер, когда я вернулся в оцепеневшую пустоту нашей квартиры, она явилась ко мне легким облачком тепла, я ощущал прикосновение ее рук к своим щекам, она утешала меня, и я улыбался ей, зажмурившись, и слезы катились у меня из глаз. И еще о шестнадцатилетней девочке с оторванной ногой в поселке Хасав-Юрт. О той мясорубке, которую я не смог простить своему президенту. Видимо, что-то случилось с моим голосом, потому что Крис вдруг протянула руку и с непередаваемым, неземным выражением на лице положила ее поверх моей руки. Кончики ее пальцев были нежными, теплыми и чуть подрагивали.

– Будь мне как сестра, – тихо сказал я.

– Я буду тебе как сестра, – еще тише ответила она, и в глазах ее был такой свет, что во мне не осталось ни одной клеточки лжи.

Остаток дня я провел как в бреду и рано ушел к себе в комнату. Каролина смотрела на меня с недоумением.

В субботу все мы отправились в машине Крис на утреннюю службу. Их церковь была расположена в Южной Пасадене, и мне совсем не хотелось туда возвращаться, тем более – встречаться с Патришей, которая должна была затем меня забрать. Крис не настаивала на моем возвращении в неродные пенаты, но Каролина проявила неожиданную активность в раскладе приоритетов. Похоже, что-то просекла или же заволновалась за свою вкусную пайку.

Церковь Новой религии тоже была новой – без колокольни и креста, но с витражами растительного содержания – цветы и фрукты, как на ВДНХ в Москве. Вместо алтаря – сцена. Зал человек на двести довольно быстро заполнился. Преобладали женщины моего возраста. Было много прилично одетых супружеских пар. Средний класс и чуть пониже. Никто не осенял себя крестным знаменем. Смуглая девушка с черными распущенными волосами, скорее всего индианка, прошла с подносом по рядам – Крис тишком сунула мне доллар, чтобы я его отдал. Знала, что у меня только крупные купюры. Она сидела рядом со мной в первом ряду, и я ощущал свежий запах ее кожи. Раздали распечатанный текст молитвенной песенки. Затем на кафедру забрался веселый мужик в цивильном костюме, по темпераменту – типичный тамада, до мессы всучивший мне свою визитку, узнав что я питерский журналист. Его проповедь сильно смахивала на сеанс психотерапии в духе отлученного от дел Кашпиоровского. Ваши глаза закрываются, голова опущена, вы чувствуете приятную тяжесть, волна тепла растекается по вашим членам...

Это верно – во время медитации мне неистово захотелось Крис. Я чувствовал обжигающую близость ее бедра, которое видел в щелку век. По-моему, она должна была чувствовать то же

самое. Потом нас таким же образом вернули в действительность. Теперь ваши члены легки и невесомы, ваши глаза открываются... Какой-то старикан из прихожан сел за электроорган, и мы запели. Мы пели про то, как прекрасен этот мир, посмотри, и надо-де, радоваться каждой бабочке, каждому цветочку и ручейку. Рядом с собой я слышал серебристый голос поющей Крис, моей прекрасной названной сестры, и мне казалось, что такой сюр мог бы переварить только какой-нибудь там киношный Линч или Рассел.

В тот день Бог был на моей стороне, и подъехавшая к церкви Патриша заявила, что в наше отсутствие она как раз вызвала маляра – у нее ремонт и негде жить. Похоже, твердо решила подарить меня. Была она, как и подобает тому, кто отрицает все и вся, босиком, большие косточки больших пальцев распыливали ее разбитые ступни, и все вежливо старались не замечать этого малоотрадного зрелища. Так что вернулись мы на Хантингтон-Бич в полном составе, хотя в пути и не звучало обычного смеха Крис – словно после молитвенного дома каждый думал о своем.

Вечером в телевизионных новостях передали, что на дороге А-6 крупное столкновение, есть жертвы, и пробка на три километра.

– Вызовут, наверно, – сказал Фрэнк, и тут же запиликал его мобильный телефон. Он переоделся в синюю спецовку, сказал нам hello и укатил. Крис опечалилась.

– Не люблю, когда его ночью вызывают, – сказала она.

Каролина пыталась ее развеселить, но Крис реагировала через раз, словно ей стоило усилий поддерживать диалог.

– Ничего, может, скоро вернется, – неуклюже попытался посочувствовать я.

– Нет, это до утра, я знаю, – сказал Крис.

До утра... вдруг четко подумал я, и у меня задрожали коленки.

Я попрощался, принял душ и лег. Дрожь все усиливалась – от волнения даже зубы мои стали стучать. Сейчас или никогда – чувствовал я всем своим мужским существом, оставив щелку в двери и прислушиваясь к храпу Каролины в дальнем закоулке гостиной. Судя по приглушенному свету, Крис или еще была там – в своем кресле с маленькой лампой на прищепке, или оставила дверь в спальню полуоткрытой – лежит, читает. «Не обращайтесь на меня внимание, я люблю читать допоздна.» Нет уж, Крис, я уже обратил – и назад мне дороги нет. Сердце бухало тяжело и часто. Пора, пока она не заснула – потом будет труднее объяснить, почему я оказался в ее постели.

Я стремительно натянул на голое тело спортивный костюм и босиком вышел в гостиную. Свет шел из спальни. Я тихо открыл дверь и увидел Крис – она лежала точно так, как я себе и представлял – на правом боку, подперев щеку, с книгой. Только не в полупрозрачной комбинации с тонкими бретельками, как мне хотелось, а в шелковой золотистого цвета пижаме.

Я кончиками пальцев по двери, как ночной мотылек крыльями, обозначил свое появление – Крис подняла голову и в ее глазах я не прочел ничего такого, после чего мне следовало бы ретироваться. В ее глазах я прочел внимание и участие.

– Прости Крис, – сказал я, чуть прикрывая за собой дверь, – я не могу уснуть. Я хочу исповедаться, потому что грешен. Могу ли я?

– Конечно, можешь, Пьетер, – сказала она, откладывая книгу и спокойно, нестыдливо садясь в постели.

– Спасибо, Крис, я этого никогда не забуду, – сказал я, опускаясь на красный ковер, как сутки назад. И вовремя, потому что ноги меня почти не держали. Я обхватил колени, уткнулся в них лбом, голос мой звучал как из бочки.

– Крис, в вашем доме я встретился с чистотой и любовью, я встретился с верой в добро, поэтому то, что у меня в душе, кажется мне святотатством. Раньше я считал, что это естественно –

думать и чувствовать так, как я. Но за эти два дня что-то переменялось во мне и я сам себе стал отвратителен. Ты и Фрэнк, вы...

– О чем ты, Пьетер? – услышал я ласковый проникновенный голос Крис и поднял голову.

Ее глаза были полны света – божественная аура любви к ближнему обволакивала меня.

– Сегодня во время молитвы я испытал противоестественное влечение к тебе, к твоему телу, – сказал я. – Мне стыдно, и я должен покаяться. Ведь ты моя названная сестра.

– Спасибо Пьетер, что ты пришел сказать об этом, – услышал я, не веря ушам своим. – Это хорошо, что ты пришел. В твоём чувстве нет ничего стыдного. Это был не ты, а только маленькая часть тебя, твоя первая чакра, разбуженная энергией молитвы, чакра плотских желаний. Но потом энергия пошла выше, пробуждая другие чакры – любви, добра, самопожертвования, света. Ведь в конце тебе стало легко?

– Да, мне стало легко. Но грустно. Потому что мне нравилось хотеть тебя.

– Плотское желание – это часть общего замысла, Пьетер. Если один человек испытывает влечение к другому, значит они духовно близки, значит, они усиливают друг друга в деле добра. Главное не в плотском желании, а в том, чтобы не останавливаться на нем, а идти все дальше, все выше. Заблуждение считать, что дальше ничего нет. Плотское – это только начало, только взлетная полоса.

Как твоя постель, Крис, подумал я. Мои коленки больше не дрожали.

– И я могу тебя поцеловать, Крис? – сказал я.

– Хмм... – чуть задумалась Крис. – В общем, да... Если, если тебе это очень нужно.

Я вдруг почувствовал себя спокойным и невозмутимым, как танк. Словно меня загипнотизировали.

– Мне это очень нужно, Крис, – сказал я.

– Зачем?

– Чтобы снять наваждение.

– Наваждение?

– Да, наваждение, что ты женщина моей мечты. Что мы должны быть вместе. Что мы должны быть не брат и сестра, а муж и жена.

– Ты поцелуешь и не сможешь остановиться.

– Нет, смогу, потому что у тебя есть Фрэнк.

– Да, Фрэнк мой друг. Но лучше, если ты правильно поймешь суть нашего брака. Мы свободны в своем выборе. Это главное условие любви.

– Выбор уже сделан...

– Да, – помолчав, тихо сказала Крис. – Но это не значит, что больше нельзя выбирать. Мы вместе, пока любим друга друга. Только нужно, чтобы любовь продолжалась.

Бьюсь об заклад, что на этих последних словах в голосе Крис прозвучал какой-то надрыв.

Я встал как покойник из гроба, положил ей руки на плечи и наклонившись, прикоснулся губами к уголку ее рта. Мне уже и это было не нужно. Я уже поверил услышанному, покался и готов был совершить жертвоприношение – положить к ее ногам хлипкий вздрагивающий комочек своей жалкой мечты. И если я продолжал играть, то разве что чуть-чуть.

– Спокойно ночи, Крис. Я люблю тебя.

– Спокойной ночи, Пьетер. Я тебя тоже люблю.

Увы, она всех любит.

Разочарованный, недовольный собой – раскис, развесил уши – я вернулся к себе. Было больно и горько. И стыдно за себя. Наверно, она там смеется. Мои чакры звенели во мне как невыпитые чарки вина. С горя я чуть было не решил разрядиться, хотя уже лет двадцать не прибегал к такому позорному способу, но что-то меня остановило. Если, Крис, это лишь часть общего замысла, то что же дальше?

Я проснулся среди ночи, услышав за стенкой в ванной комнате то ли стон, то ли всхлип под тихий шум воды из крана. Не рассуждая, даже не отдавая отчета в том, что я делаю, я вскочил, обвязал бедра полотенцем и толкнул дверь в ванную комнату.

Крис стояла перед зеркалом, приложив мокрые ладони к щекам. Глаза ее были заплаканы. Две верхние пуговицы пижамы расстегнуты, будто ей не хватало дыхания.

Она увидела меня в зеркале и смущенно обернулась:

– Прости меня Пьетер, я не даю тебе спать.

– Что случилось, Крис, могу я тебе помочь? – сказал я.

– Нет, все хорошо, Пьетер, мне не нужна помощь.

– Но ты плачешь...

– Женщины слабые существа, Пьетер, у них бывают истерики.

– Можно обнять тебя, Крис? Просто как обмен энергии. Тебе станет легче... Это...

Она не ответила, поэтому я сделал два шага, осторожно привлек ее к себе, погладил по волосам. Ее голова и руки были опущены – она словно поневоле вслушивалась в мои прикосновения. Я обнял ее чуть сильнее, ощутив ее тело вдоль своего, и вдруг ее лоно ответило вздрогом.

Я услышал ее короткий прерванный вздох и, зная, что это значит, властно опустил руку между ее ног, прикрытых шелком пижамы, и впился в губы. Она не сопротивлялась. Рывком я поднял ее на руки и понес к себе. Когда я опустил ее на свою постель и встал рядом, словно в последний раз испрашивая разрешения, она – боже мой! – она, не открывая глаз, протянула ко мне руки. Остатком разума я бережно расстегнул перламутровые пуговочки. Потом я осознал, что ее ноги ножницами стригут воздух, пытаюсь сбросить с себя широкие шелковые панталоны. Я обернулся и взгляд мне обжег темный вздыбленный клочочек золотого руна на лобке...

Кровосмесительная ночь.

Бесконечные волны дрожи, пробегающие по телу Крис, как идущие к берегу белые гребни прибоя, как океан.

– Как тебя звала мама?

– Петя.

– Что мы делаем, Пьетья? Ведь я твоя сестра. Мне слышится «pieta» в твоем имени.

– А мне в твоем голосе...

В сумерках восхода надо мною снова всплыло ее лицо, ее волосы открывающимся и закрывающимся занавесом прошлись по моим запекшимся от ласк губам, щекам, лбу:

– Пьетъа, ты спишь?

– Нет, – отозвался я.

– Мне пора, скоро приедет Фрэнк.

– Какой Фрэнк? Теперь я твой муж.

Занавес волос покачался из стороны в сторону:

– Нет, Пьетъа. Мой муж Фрэнк. Каролине утром на работу. Она отвезет тебя назад. Мы больше никогда не увидимся, Пьетъа.

– Это невозможно, – сказал я, еще не чувствуя бездны под ногами. – Я без тебя умру.

– Нет, Пьетъа, ты не умрешь. Ты найдешь другую женщину и будешь с ней. Я не могу оставить Фрэнка. И не спрашивай ни о чем. Прощай. Я буду молиться за тебя.

– Я люблю тебя.

– Прощай, Пьетъа.

За дверью раздавался жизнеутверждающий храп.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

В студии больше не пахнет краской и маляр увез свои банки и валики.

Коты, Патриция, ветчина. Впрочем, последнее уже не каждый день.

– Ты теперь все здесь знаешь, Петер, сам будешь ходить в магазин и покупать, что тебе нравится.

За свои собственные денежки, забыла добавить она.

Как-то Патриции надо было в город по делам – взяла меня с собой. На обратном пути, сделав крюк, завезла в квартал бомжей. Не сразу нашла, встревожившись, что их нет, но тут же вздохнула с облегчением – вон они... Бомжи сильно смахивали на моих соотечественников на рабочей окраине у будки с разливным пивом. Те же следы вырождения на лицах. Только эти в очереди не стояли, а толпились на тротуаре и подпирали стены в преддверии быстро наступающих сумерек. В основном, темнокожие мужчины, но попадались и белые, а также женщины с детьми. Здесь, на тротуаре, они жили и спали. Самые везучие устраивались на ночлег в картонных коробках.

Зачем она мне это показала? Чтобы я наконец оценил ее гостеприимство?

На теннисном корте пара новых знакомств: Даяна, женщина лет сорока, крепкозубая приземистая латиноамериканка с правильными чертами лица, и высокий красивый темнокожий индус Дейв, телеоператор. Дабл Ди, пошутил я, тщетно пытаюсь вознести отношения с Патришей на прежний уровень ее забот обо мне. Дейв играл отменно, но был застенчив и впечатлителен и потому явно переоценил мои возможности. А переоценив, проиграл. Он спешил на съемку, и я доигрывал вместо него с Даяной. Она много и бестолково бегала по корту, обливаясь потом. Зато потом села в красивую машину. Обменялись телефонами, обещала на днях позвонить – позвать на следующую игру.

И действительно позвонила – сказала, что сломала ногу и сидит дома.

– Где? – спросил я.

Оказалось, у черта на куличках.

Курица. Носилась бы меньше.

Кристина, Кристина, сладость твоего лона еще на моих губах и ее не стереть постылому привкусу серых будней.

Да, я все еще ждал звонка. Звонка от Крис.

Через неделю в трубке, которую с таинственным видом протянула мне Патриция, заквакал, замяукал голос Бесси.

– Куда ты делся, Петер? Почему не звонишь?

От вульгарного тембра меня чуть не стошнило, но я поборол себя.

– Привет, Бесси, рад тебя слышать.

– Петер, хочешь я за тобой приеду и мы проведем вместе время?

– Еще как, – сказал я. – Это моя мечта.

Под вечер ее огромный «меркурий», похожий на розовую летающую мыльницу, замер у крыльца.

«Опять»? – сказал мне взгляд Патриции, и в нем вспыхнула слабая надежда, что на сей раз я не вернусь.

Я собрал сумку, положил ракетку, проверил наличие презервативов. Днем было жарко и душно, и я остался в белых теннисных шортах от Серджио Таччини. Бесси была надушена, в сергах и ажурных чулочках. Несколько раз она жадно глянула на мои загорелые, в меру волосатые ляжки, и я понял, что поимею ее сегодня.

– Куда едем? – положила она руки на руль и повернулась ко мне, посмотрев, как на свою законную добычу.

– К тебе? – спросил я. – Или есть варианты?

– Можно поехать в ресторан, – пожала она плечом. – У меня дома пустой холодильник. Только тебе придется переодеться.

– Хорошо, – сказал я, хотя мы уже тронулись с места, а сумка моя осталась в багажнике.

– Нет, – решительно тряхнула она головой, нажимая на акселератор. – Лучше ко мне. По пути все купим. Что ты больше любишь – рыбу или мясо?

– Рыбу, – сказал я. – Вернее, рыбку, которая сидит рядом со мной.

– Какой ты забавный! – сказала она, шлепнув меня по ляжке.

Мы ехали обратно – туда, на Хантингтон-Бич, и сердце мое стало оттаивать.

– Это голодный русский, – сказала она продавцу в рыбном магазине, где мы покупали на ужин форель. – Я подобрала его на улице.

Вышколенный продавец в белоснежном переднике видел за стеклом у входа нашу машину и вежливо склонил голову, как бы оценив шутку богатой леди.

Дома нас встретили старые знакомые Сюзи и Спайк. Сюзи норовила отдаться, а Спайк лежал на спине и поочередно дрыгал вытянутыми к потолку ревматическими ногами, при этом хрипло колокоча.

– Совсем с ума сошел, – покачала головой Бесси.

Я похвалил ее дом.

– Да, у меня отличный дом, – с энтузиазмом сказала Бесси.

Сдержанный, в лилово-серебристых тонах, интерьер был продуман до мелочей. Везде царил убийственный порядок. В каждой комнате на коврике лежала, словно прикорнув, какая-нибудь фарфоровая зверушка. Надо было смотреть под ноги, чтобы не навернуться.

Наконец рыба была готова, Бесси попросила меня открыть бутылку белого бургундского, зажгла свечи в высоких бронзовых канделябрах, включила тихую музыку. После ужина мы по очереди приняли душ и, взявшись за руки, отправились в спальню. Я снял с Бесси халат, лифчик и трусики, слегка удивившись обширной кудели между ног – видимо, модной в нынешнем сезоне. Как бы романтический английский парк вместо регулярного французского. В какой-то момент мне даже показалось, что я не найду дорогу. Бесси нетерпеливо покусывала мне плечи и нервно, с хрипотцой, похохатывала.

Честно потрудившись часа полтора, я с сознанием исполненного долга смахнул со лба капли пота и провалился в сон. Бесси благодарно всхлипывала где-то рядом со мной, уткнувшись носом в мою подмышку, видимо, горькую от случившегося в ванной мужского дезодоранта «Жиллет». Ночью я проснулся оттого, что орудие моего труда крепко сжато рукой Бэсси. Без слов я приподнялся над ней и послушно совершил требуемое, чувствуя с досадой, как саднят царапины на плечах.

* * *

Разговор о Крис возник утром, и Бесси сказала, что, насколько ей известно, Фрэнк не занимается любовью, потому что он импотент.

– Вернее, не импотент, но у него была какая-то травма, еще в молодости... – охотно разглагольствовала Бесси, но вдруг осеклась, взглянув на меня.

– Что? Что-нибудь не так? – подняла она подбритые брови. – Почему у тебя такое лицо?

– Нормальное лицо, – сказал я. – Просто жалко их. Хорошая пара.

– Была хорошая, – сказала Бесси. – Мы так дружили. А теперь они в религию ударились. Стали такими ханжами. Тебе что, понравилась Кристина Тилни? – ревниво промяукала она, отодвигаясь от меня. – Ну и иди к ней.

– Я уже пришел к тебе, – сказал я. – И буду с тобой, если тебе этого хочется.

– Мне хочется, хочется, хочется, – забормотала она, полуприкрыв глаза, и я тут же на кухонном столике, еще раз распыл ее. Она меня возбуждала, это факт, и я втихомолку ненавидел ее за это.

Она работала в какой-то крупной торговой фирме риэлтером и, судя по всему, с успехом. Родители жили в Бостоне, папа миллионер, старший брат – почти. Вот только с мужем пролет – отличный был муж, но алкоголик. Ударил ее однажды.

От Бесси же я узнал, что Крис и Фрэнк в отъезде, и мне почему-то стало легче.

– Знаешь, куда я тебя повезу, – сонно улыбалась благодарная Бесси. – В Диснейленд! Там и отдохнем.

День был ветреный, и Диснейленд трепетал флагами и вымпелами. У нарядных ворот под легким навесом сверкало несколько новеньких автомашин, которые можно было выиграть на входной билет, то есть двадцать тысяч баксов за какие-то двадцать пять.

– Сожалею, но ваши билеты не выиграли, – приветливо посочувствовала нам молодая контролерша в красивой униформе.

– Не беда, выигрыш при мне, – ответила Бесси.

Все там работало, как часы, – все эти самодельные слоны, джунгли, тигры, колесные пароходы, космические путешествия, подводные лодки и сотни тысяч разных электромеханических кукол – хоть бы у одной из них отнялась ножка или ручка, провалились бы глазки. В Замке привидений мы попали на бал Сатаны, отрубленная голова ведьмы в стеклянном сосуде вещала что-то апокалиптическое сизыми бескровными губами, когда же наша тележка развернулась к зеркальной стене, я узрел между собой и Бесси виртуального вурдалака, довольно отвратного на вид. Возможно, он так и остался при нас, когда мы вышли. Потом мы носились, как бешеные, вверх-вниз в крошечной ночи огромного алюминиевого шара, и под взвизги не видящих друг друга пассажиров я пытался довести Бесси до очередного кипения.

– Что значит, Фрэнк не занимается любовью? Для секса достаточно и одного мизинца.

– Ну что ты, Пьетер – для них это богомерзко.

Закрыв глаза я – от гребенок до ног – снова увидел перед собой Кристину и сердце мое застонало.

К ночи я почувствовал себя таким усталым и выпотрошенным, что мог предложить Бесси, то бишь Элизабет, лишь сокровенный поцелуй...

Но она была благодарна до слез.

Великое ее достоинство, между прочим.

Спи, Лизавета.

Утром я обнаружил на своем причинном месте рождественскую ленточку с бантиком. Там же губной помадой была запечатлена попытка поцелуя. Крепко же я спал. На коврике под ногами возле фарфоровой собачки, посаженной сторожить меня, лежала записка. «Еда на столе. Скоро вернусь. Не думай бежать!»

Было бы куда, Лиза.

За дверью в гараж просительно потягивала Сюзи и задушено хрипел Спайк. Я не стал пускать их в дом. Поставил кофе, похрустел муслями с йогуртом. Потом сварил два яйца в мешочек – для потенции. Накопал на полке чай с женьшенем – на всякий пожарный выпил и чаю. Хотел позвонить Патриции, но раздумал.

Бесси вернулась с живой рождественской елкой в амнезии искусственного инея и принялась ее наряжать. От помощи отказалась:

– Я люблю сама. Лучше погуляй с Сюзи.

Первое декабря. Солнце. Градусов семьдесят тепла по Фаренгейту. По Цельсию – двадцать. Перед домом Крис и Фрэнк – пусто. На дверях соседних домов появились перевитые лентами рождественские венки. У нас с такими хоронят. По всем каналам радио УКВ – ор от рождественских скидок на товары и услуги. Каролина тоже куда-то пропала. Не с ними ли?

После Сюзи Бесси выдает мне классный байк – «у меня классный сын, классный дом, классный байк» – и отправляет покататься. Оберегает мою мнимую свободу, чтобы на ночь заполучить меня целиком. Интересно, сколько я продержусь. Я рулю к океану, благо до него отсюда рукой подать. Нарядный спортивный народ на широкой асфальтовой дорожке вдоль пляжа. Народный спортивный наряд. Бегут, катят на роликах, рулят на катиках, крутят педали, как я. Теплый свежий морской ветер в лицо. Ветер – Петер. Господи, только ты знаешь, как я несчастен.

Когда возвращаюсь, она еще возится с иллюминацией, пыхтит под елкой, как снегурочка, являя мне в спортивных штанах свои хорошо оформленные лакомые половинки, но я к ним ин-ди-ффе-рен-тен. Да, да, мое Вам ффе! Загадка природы – тянуться к тому, за что быют по рукам.

– А где твой сын, Бесси?

– Сейчас у приятеля живет. Я их устроила в один дорогой клуб. По ночам работают. Отвозят машины на стоянку. Чаевые до ста долларов. Неплохой бизнес.

– Он знает про нас?

– Конечно. Я вас обязательно познакомлю. Ты ему должен понравиться. Кстати, мы сегодня по пути заедем к нему.

– Мы куда-то собираемся?

– Да, разве я тебе не сказала? В Хрустальный дворец. На рождественский спектакль.

– Надо будет одеться?

– Да, Пит. Хотя раздетый ты мне ближе.

Пит, это что-то новое. Из Питов я знаю только Сампраса, ракетку номер один в классификации Эй-Ти-Пи.

– Пит это не я, а ты.

– Почему?

– Потому что «пит» по-английски – впадинка.

– Хи-хи, верно!

– А я Питон.

– Змея, что ли?

– Нет, просто Большой Пит.

– Ну уж и большой...

– Тебе видней.

– Ха-ха. Иногда я забываю, что ты русский.

Напрасно, Лизабет.

Наконец елка – в невидимых путах проводков; вспыхнули и погасли малюсенькие, как булавочные уколы, огоньки.

– Мы потом их включим, Большой Пит, то есть Питон.

Потом – это когда? Есть ли у Питона потом?

– О'кей, Лиз.

– Это по-русски?

– Да.

А по-английски, между прочим, lease – сдача внаем.

Если чудеса могут быть рукотворны, то Хрустальный дворец, действительно похожий на друзу горного хрусталя, был восьмым чудом света. На сцене толпились волхвы, ослы и настоящие верблюды. На руках у девы Марии лежал кукольный Христосик. Мог бы быть и живой, если бы маленькие дети не плакали. В небе возшла Вифлеемская звезда. Над зрительным залом с

ловкостью воздушных акробатов летали ангелы. У одного из ангелов заело тросик и он, бедняжка, полспектакля провисел у нас над головой, пока его наконец не утянули под шумок.

Этот незадачливый ангел, молча, стоически перетерпевший свой конфуз, привел меня в такое возбуждение, что я, не дожидаясь, прямо на стоянке, в нашем большом «меркурии» набросился на Бесси, видя вместо нее эту ангельскую девушку, висевшую над нами, с длинными распущенными волосами и стройными точеными ножками, беспомощно высовывавшимися из-под шелкового балахона, как у марионеточного Пьеро.

– Что ты делаешь, Большой Пит? У меня дрожат ноги, и я не могу вести машину.

Давай разобьемся, Лиза, и пусть белый американский орлан выклюет нам печень.

В ночной клуб к сыну мы так и не заехали.

* * *

Уже на третий день возник разговор о женитьбе. Она считала дело почти решенным – ей никогда ни с кем не было так хорошо, как со мной, и, ясное дело, не будет – оставалось только согласовать это с родителями и братом. Я с долей меланхолической грусти по упущенной Кристине принимал ее вариант. Путь к мечте оказался настолько коротким и банально простым, что я почти не узнавал ее – свою мечту. И что я буду здесь делать, спрашивал я сам себя. Даже у Патриции я не задавался этим вопросом. Гулять с собаками, сметать в совочек их какашки, сторожить у двери да, поблескивая золотым ошейником, вылизывать на ночь собственное причинное место?

– Будешь, как я, риэлтером, – словно услышав мои сомнения, сказала Бесси. – У тебя получится, я знаю.

* * *

В Лас-Вегас приехали еще засветло – всего три часа пути на летающей мыльнице Бесси через взрезанную горами пустыню Мохаве. Серые и сонные улицы, пустые игральни, где хмурые от недосыпа служительницы, устало предлагали нам попытать судьбу. Я остановился у «Колеса фортуны» и тут же продул пять долларов. Хохотнув, Бесси заплатила, но от меня не ускользнуло, что ей это неприятно. Возле игровых автоматов в чревах нижних этажей сидели прилично одетые американские старухи. У всех у них было одно выражение лица – пациентов психушки. Их старые сухие руки работали как на конвейере. На хозяина казино. Собирали ему птицу удачи. В одном месте можно было набить определенное количество очков, не потратив ни цента. Я сел, Бесси стояла рядом, проверяя, на что я способен. НАБИЛ! Счастливый, подошел к кассе. Оказалось, что я всего-навсего попал в список претендентов на вечерний розыгрыш. Мою фамилию написали мелом на черной доске почета. Где-то во втором десятке. Попросили обязательно подтянуться через четыре часа. Чума да и только. В другом месте – какие-то купоны вместе долларов – десять, двадцать, сто. Платить опять же ничего не надо. Начинаешь ставить на бесплатный купон. Я сдуру клонул: «Бесплатно ведь, Бесси.» Бесси молча показала мне на пролетевшую мимо мусорного бачка пачку таких же купонов. Ей было совершенно непонятно, как я, такой наивный, дожил до своих тридцати восьми лет.

Разговорились со словоохотливым охранником в ювелирном магазине. Он здесь родился, здесь живет. Несмотря на дурную славу, Лас-Вегас на самом деле город тихий и пристойный. Преступления редки. Не сравнить с Нью-Йорком или тем же Эл-Эем. Опять же свобода. Ни в одном городе штатов нет такого. Делай, что хочешь. Каждый берет ответственность на себя. Потому и порядок, господа хорошие. Хочешь стриптиз и прочее – пожалуйста. Хочешь под венец – валяй. Церковь не спросит никаких документов – ни сколько тебе лет, ни какого ты вероисповедания. Потому сюда и съезжаются влюбленные со всех концов мира.

Я на всякий случай посмотрел на Бесси.

– А ты не знал? – сказала она. – Для чего, ты думаешь, я тебя сюда привезла.

Оказалось, это она так пошутила...

Наконец спустились сумерки, и вдруг началось. Как если бы я закрыл, а потом открыл глаза. Открыл и не узнал города. В одно мгновение Лас-Вегас стал другим. Вернее, он вовсе исчез, растворился, как в грандиозных фокусах Копперфильда, оставив на обозрение только свой стеклянный чертеж, неоновый муляж, макросхему огней и вспышек.

Мы отправились в самое роскошное место – в Палац Цезаря. Это был действительно дворец с арками, порталами и колоннами коринфского ордера. Не надо было ехать в Рим, чтобы сквозь жалкие остатки Римского форума пытаться восстановить мощь и величие той эпохи. Вот он – роскошный новодел, воскрешенное царство, мраморный сон! Все дороги вели сюда. И какие дороги! Ленты эстакад сами тебя везли, как на колеснице, подняв высоко над землей. Ты еще ничего не выиграл, а уже чувствовал себя царем, триумфатором.

В огромном холле дворца шла игра, вернее, тысячи разных игр. Гологрудые, лишь с позолоченными звездочками на сосках красотки разносили напитки. Мы с Бесси договорились попробовать в одиночку. Она все уверяла, что вообще-то не играет.

Я не решился на рулетку и за полчаса продул на автоматах пятнадцать из двадцати выданных мне долларов, как где-нибудь на станции метро «Гостинный двор».

– Я знаю автомат, который выигрывает, – подошла ко мне какая-то бесцветная женщина, все поняв по моему лицу. – Только что там один парень выиграл пятьдесят баксов. Нормально, да?

Она все спустила и, еще не остыв, желала участвовать хотя бы в чужой победе. К тому моменту у меня оставалось четыре доллара. Я пересел, куда она указала, прикидывая, буду ли ей должен в случае выигрыша. На четыре я выиграл семь, а на семь десять. Меня прошиб пот. К нам подошла Бесси. Я уверенно опустил все десять. Хотел побыть молодцом. И оставил их в стальной копилке.

– Fuck! – сквозь зубы сказала женщина и пошла между рядов дальше.

– Больше не дам, – сказала Бесси. – Ты меня разоряешь. Приходится дыры залатывать. – И показала две новеньких сотенных, зажатых в левой руке. – Видал?

– Неужели выиграла?

– Угу, – оттопырила она губу.

– Как?

– Очень просто. Сначала ставишь на чет, а потом на нечет, – и она небрежным жестом уронила банкноты в жерло сумочки.

Мы отправились дальше. Внезапно раздалась театрально-воинственные крики, толпа расступилась и по красной дорожке в окружении вооруженных римских воинов проследовал к подиуму Гай Юлий Цезарь со своей женой, возможно – Помпеей. Оба были в белых тогах с золотой оторочкой. Цезарь раскрыл свиток и огласил указ. В том смысле, что благословляет нас на игру – сегодня, дескать, ты, а завтра я. Так что, ловите миг удачи, господа. Чтобы проигравшие подняли голову, а победившие не забывали, что в двери радости надо входить осторожно. Помпея молчала и была хороша собой.

Бесси вдруг притормозила и сказала:

– Подожди, я сейчас...

Я решил, что ей понадобился туалет, махнул, что буду возле входа, и пошел дальше.

Я стоял в углу холла, скрестив руки и криво улыбаясь, и смотрел на толпу. В одном углу моей улыбки была горечь от собственного проигрыша, в другом – мстительное торжество. Как никак моя подруга не дала меня в обиду.

Наконец Бесси вернулась.

– Выиграла, – сказала она и тихо рассмеялась. – Еще двести. На тебя ставила, на твой возраст.

В руке у нее было два жетона.

Мы встали в очередь – худенькую очередь счастливых и получили положенное. Я почему-то подумал, что она подарит мне этот выигрыш. Что называется, погорячился.

Еще побродили по казино, поднимаясь куда-то на эскалаторах, где в залах, поменьше и поинтимнее, шла игра по-крупному, – нам улыбались и предлагали делать ставки.

Почему-то из казино Цезарь Палац не оказалось выхода. То есть хоть в малой степени адекватного входу. Во всяком случае, мы его не нашли и, чертыхаясь, долго выбирались через неприятные коридоры к автостоянке. Высоко над нами на трех конвейерах поступала в пышущую печь дворца людская порода, а отработанный шлак сам потихоньку высыпался сквозь прорези колосников.

На одной из улиц перед толпой зевак фукал дымом искусственный вулкан, падал с искусственной скалы искусственный водопад, ревел искусственный лев. Постояли минуту, не вылезая из машины, и поехали.

Куда вы? – дергались, как на костре, огненные рекламы. Что ли с ума сошли? Все только-только начинается, мулен-ружи и кафе-штанцы, цирки и кабаре, стриптизы и про-о-чие шоу на всю ночь плюс почти бесплатный столик на двоих. Но Бесси торопилась – на утро у нее была назначена встреча с одним очень богатым клиентом, а еще три часа пилить по пустыне.

* * *

Утром она уезжала на работу и мы вдвоем – я, Сюзи и Спайк – провожали ее, помахивая хвостами. В шесть она возвращалась и мы радостно бросались ей навстречу, отталкивая друг друга, чтобы оказаться первым, кого она ласково потреплет, а потом нетерпеливо ерзали, сидя вокруг, пока она доставала каждому из пакета его любимое лакомство. Сюзи балдела от гусиного паштета, я – от креветок, а Спайк и так был обалделый. Пару раз приезжал на своем ценимом здесь «вольво» сын Бесси Дик – славный целеустремленный юноша. Он учился в киношколе Голливуда то ли на режиссера, то ли на продюсера и отнесся ко мне на удивление лояльно. Он любил свою мать и хотел видеть ее счастливой. Он был хорош собой, черняв и совсем не похож на Бесси. Это были два глубоко привязанных друг к другу человека, которым многое пришлось пережить, и что-то во мне перещелкнуло на непростительно серьезный лад. Я почувствовал, что становлюсь ответственным и сентиментальным – верный признак грядущих глупостей.

Между тем, мое знание окрестностей Эл-Эя значительно расширилось. Помимо Беверли Хиллз, где какая-то подозрительная парочка из обшарапного автофургона предлагала нам пиратский путеводитель по домашним адресам суперзвезд, мы побывали в Голливуде, проехали по его пестрым улочкам, а потом завернули на территорию киностудии «Парамаунт», где подвизался мой будущий пасынок Дик. Пятиэтажной бетонной стеной голубело нарисованное небо, надежный задник на все случаи жизни, за витринами тут и там торчали фаллосы золотых Оскаров, как бы братьев Бэтмена, а на обратном пути возле музея восковых фигур меня больше всего поразил неподвижный господин в смокинге, котелке и полосатых панталонах. Брови манекена вдруг задергались, усы зашевелились, и, свирепо вращая глазами, он деревянной походкой двинулся на шарахнувшихся зевак. Но тут же манекен расслабился, стал человеком, улыбнулся всем извиняющейся улыбкой и повернул обратно. И когда он возвращался на свое служебное место, опустив плечи и нарумяненное под воск лицо, я услышал горестный вздох унижения, под которым мог бы подписаться и сам.

А мог и не подписываться, поскольку правая рука Бесси на моих причиндалах отнюдь не вызывала у меня протеста, скорее – наоборот. Я стремительно привыкал к ней.

– Лиза-подлиза.

– Что такое подлиза?

– Подвид. Разновидность Лизы.

– Ты всегда такой шутник?

– Нет, только с тобой.

– Ты такой... особенный! – рука Бесси восхищенно ущипнула мою ляжку и вернулась на согретый пригорок. На руль рука поднималась лишь на поворотах, поскольку коробка передач была автоматической. – Хочешь, мы пообедаем в испанском ресторане?

Испания с сильным мексиканским акцентом встретила нас знаменитой гитарой Пако де Лусии.

У потолка висели окороки под названием «хамон».

– Как летучие мыши, – сказал я.

– Как мумии, – сказала Бесси. – Тутан-хамоны.

В тот вечер мы, переодевшись, устроили оргию. Я был Кортесом, пленяющим золотоволосую наложницу Монтесумы. Пленять пришлось по всему дому, спотыкаясь о фарфоровый зверинец, и настиг я ее лишь в маленьком тесном чулане... С потревоженной полки падали на нас, как снежинки, ватные тампоны. Видимо, наступал ледниковый период. Бесси рычала, как динозавр, и норовила откусить мне палец. Она обожала натиск и грубую мужскую силу.

Загадка.

Предположим, что Питон
Проглотил большой бидон,
А Питона Крокодил,
Предположим, проглотил, –
Кто же нам вернет бидон,
Крокодил или Питон?

– Это что, твое?

– Мое.

– Не думаю, что ты вернешь бидон.

– Почему?

– Потому что я тебя не отдам.

И все же было очевидно, что Бесси нервничает – она ждала родительский звонок из Бостона. Позвонили, когда я уже так спал, что не мог проснуться, только слышал издали приглушенный голос Бесс, ушедшей с телефоном в гостиную, чтобы меня не будить. Потом она вернулась, легла и крепко прижалась голой грудью к моей спине, голыми ногами к моим ногам, словно замерзла в стылом воздухе ночи. Поза ложки.

– Все хорошо? – сквозь сон пробормотал я, не уверен, что по-английски.

Но ответа ее уже не слышал.

Утром в постели, потерявшись о меня коленкой, она зашептала на ухо, дыша мятной жвачкой:

– Пит, проснись. Я сегодня улетаю в Бостон. У нас семейное торжество – семьдесят лет отцу. Вернусь через неделю.

– Я останусь здесь?

– Нет, тебе лучше пожить у твоей хозяйки.

– А как же собаки?

– Я отдам их Кристине с Фрэнком.

Так они вернулись!

– О, как я хочу тебя сейчас, Пит. Неделю врозь – я этого не выдержу.

Так они вернулись!

Бесси что-то еще говорила, тихо завладевая тем, что ей было больше всего понятно во мне, а мысли мои уже неслись к дому напротив. Что там? Как?

Впрочем, в благодарность за новость я отдал Бесси все, на что остался способен после Кортеса, и она отметила бурными слезами свой как всегда отрадный оргазм.

– Я буду думать о тебе, Пит, – сказала она, высаживая меня у крыльца Патриции.

Я не представлял, с какими глазами предстану сейчас перед Патришей. Провалиться сквозь землю было не худшим вариантом продолжения нашей с ней «дружбы».

Да, Патриция торжествовала – такой помятый, побитый, зализывающий раны я был ей ближе и родней. Вечером мы распили с ней бутылку КУПЛЕННОГО МНОЮ со страху красного, и только полное физическое истощение удержало меня от того, чтобы не появиться в ее ночной конуре. Допускаю, что Патриция очень бы удивилась и прогнала меня. Но прогнала бы с теплом в сердце – ведь я бы к ней пришел ПОСЛЕ ДВУХ МИЛЛИОНЕРШ! Что гадать? Чего не было – того и не было. Но, бьюсь причиндалом об заклад, что теперь МОГЛО БЫ БЫТЬ. Патриша почувствовала это и стала относиться ко мне почти как прежде, как в начале.

* * *

Вечер, коты под настольной лампой, уроки русского языка.

Где живет этот господин?

А хрен его знает.

* * *

Утро. Соседка сверху, вооружившись граблями, убирает сухую листву вокруг дома. Хочу помочь – то ли чтобы познакомиться поближе, то ли из чувства долга – больше месяца живу тут, а еще ни разу не пошевелился на тему окружающей среды.

– Не надо, – говорит Патриция. – Лучше не мешать ей. У нее просто плохое настроение. Она всегда метет двор, когда ей плохо.

Жаль. Мне она уже почти понравилась.

Через часа три выхожу во двор – она еще там. Облако пыли неспешно втягивается в открытое окошко каморки Патриции и потревоженные коты – три на крыльце, один на постели – недовольно уходят.

В доме Патриши дубак. Мерзну.

Некстати вспоминается обещание Бесси: «Я отвезу тебя в настоящий магазин».

Не отвезла – не успела. Или побоялась, что придется на меня потратиться.

* * *

Я позвонил Бесси через неделю, как и договаривались.

Да, вернулась, но говорила уклончиво, ссылаясь на страшную занятость. И я понял, что на семейном совете безродный иноземный претендент на руку и сердце получил категорический и безоговорочный отлуп.

Богатые вероломны, Петер. У них вместо сердца кошельки.

Направда твоя, Патриша. Нищие вероломней.

* * *

Оказывается, на втором этаже, кроме учительки, живет Стив, ветеран вьетнамской войны, тихий сумасшедший. У него военная пенсия, он считает себя художником. В воскресенье приглашает нас с Патрицией к себе в студию. Он рисует одни высотные дома – скрюченные, будто им выстрелили в живот. С Патрицией они друзья, и ей позволено говорить то, что она думает. Однажды она спросила: «Стив, зачем ты рисуешь одни скрюченные дома? Это слишком мрачно, вряд ли кому понравится. Нарисуй что-нибудь красивое». Он посмотрел на нее с удивлением: «Разве это не красиво, Пэтти?»

Теперь же мы поднимаемся по лестнице и не без робости входим в его мастерскую. Патриция не преувеличивала. Все так и есть, но странное дело, рядом со своим создателем скрюченные дома как бы выпрямляются. Может, потому что сам Стив строен, моложав, с черными усами на мальчишеском лице, и вообще похож на Кларка Гейбла. Голос у него тихий, как и положено в храме искусств.

– Вообще-то мне больше нравится делать рамы, чем рисовать, – смущенно говорит он и, не в силах присутствовать при нашем суде, на цыпочках выходит из комнаты.

А рамы у него действительно необычные – Стив обклеивает их ракушками и кусочками зеркала, нитками, пуговицами, ножницами, зубными щетками, ножами и вилками. Лучшая его рама обклеена розовыми синтетическими попугайчиками. Это его последняя вещь – от нее еще пахнет клеем.

– А ведь это про нашу Америку, – шепчет мне Патриция, – снаружи попугайчики, а внутри пустота.

* * *

На теннисном корте два невозмутимых японца в трех сетах обыграли меня с Патриком Доннаваном, продавцом осциллографов с Хантингтон-Бич.

Хантингтон-Бич...

Я еще не забыл вересковый запах твоего лона, Крис.

Каролина говорит, что они втроем отлично отдохнули на ранчо Крис близ Сан-Диего. Так у нее есть свое ранчо! Что же ты молчала, Крис? Вот куда мы должны были убежать в то утро... Я не выдержал – позвонил. Ответил Фрэнк, и я повесил трубку. Нет, все кончено, она не позвонит тебе ни-ког-да!

Каролина смотрит на меня с вопросом. Но взгляд непосвященный. Никто не знает про нашу тайну.

Патриция сделала последнюю пробу – отвезла меня, трясущегося от страха, в настоящую школу, где я дал настоящий урок сорока десятилетним детям. Не знаю, что это был за урок – я решил, что им будет интересно, если я расскажу про Россию – про церкви с куполами из золота, про снега, про русскую баню, купанье в проруби и про Великую Отечественную войну, в которой мы воевали как союзники. Детям, вроде, было интересно, а Патриция и ее подруга-учительница просидели, открыв рот, как если бы попали на проповедь новорусского мессии. В своем ли они тут уме, елы палы? Я было загорелся, распустил хвост, но остыл. Школа бедная, денег из казны на самозванцев не предусмотрено. Да, могу раз в неделю заменить учительку. За? За банку пепси.

И вдруг объявилась Кэти, умненькая девочка-подросток, у которой я брал интервью в Лосеве. Оно почти целиком попало тогда в газету. Кэти меня отлично помнит, а папа у нее, между прочим, вице-президент крупной электронной компании. Дальше – больше: она хочет изучать русский язык, а Патриша горячо их заверила, что лучше меня в Калифорнии нет учителя. А как обрадовался папа вице-президент, узнав, что я играю в теннис. Больше всех радовалась моя Патриша, наконец-то я начну зарабатывать себе на обед.

Шепнула, когда за мной приехали:

– Там тебя покормят...

Видно, бедную еще не раскилило. Или действительно была озабочена моим будущим.

Вице-президент оказался славным малым лет сорока пяти, чем-то похожим на Фрэнка. Твердый подбородок, умные карие глаза, одет просто – в потертые джинсы, клетчатую фланелевую рубашку, кроссовки. Но на улице нас ждал его могучий «бьюик», спокойно заявляя о том, что в нашем демократичном интеллигентном разговоре было вынесено за скобки. Впрочем, Джейк, так звали отца Кэти, похоже, не замечал, какая у него машина. Для него это было естественно, как дыхание. Я сел сзади, Кэти – впереди. На заднем сидении лежали нераспакованные мячи и ракетки. Все добротное, надежное, красивое. Я положил рядом свою.

Ехали мы недолго, но за это время Южная Пасадена заметно похорошела. А может, она была здесь уже не южной, а западной или восточной. Белые роскошные дома среди зеленых кущ. Такой же оказалась и двухэтажная вилла Джейка – с колоннами, в викторианском духе. А может, и не викторианском, поди разбери. За домом – голубое око бассейна, рядом – огороженный металлической сеткой корт, его собственный. Если на Хантингтон-Бич жили просто богатые люди, то здесь они были уже далеко не просто. Богатство измерялось не столько архитектурой, сколько количеством принадлежащего ей пространства.

Переодевшись, мы вышли на корт и сыграли в «американку» – два против одного. Как я ни пытался, мне не удалось выиграть у Джейка с Кэти, а он довольно легко расправился с нами. Я почувствовал, как для него важно – выигрывать. Первый признак спортсмена. Мне же скорее нравилось просто играть. Светило солнце, в вечнозеленых кронах деревьев пиликали незнакомые птицы, маленькая смуглая служанка принесла и поставила на стол у бассейна графин апельсинового сока со льдом и несколько бутылок кока-колы.

Вскоре запыхавшаяся Кэти сказала, что с нее хватит, и оставила нас один на один.

Я продул Джейку два сета, и он было с удовлетворением посмотрел на меня: дескать, все понятно, для начала хватит, но я сказал, что только-только стал чувствовать мяч, поскольку давно не тренировался, и Джейк, колебавшись, согласился на третий сет. В это время из дому вышла его жена и, сев за столик у бассейна, стала следить за нашей схваткой. После трех геймов при счете два один в пользу Джейка я понял, что она болеет за меня, словно выигрывать у бедного русского гостя было, по ее мнению, дурным тоном. Я взял свой гейм, а потом гейм Джейка и в минутном промежутке успел исподтишка разглядеть ее, строгую, стройную брюнетку моих лет с точеными чертами лица. Я физически ощущал ее присутствие, ее вежливо-аристократическое внимание и, наверное, это помогло мне, потому что дальше я стал неукротимо набирать очки и выиграл сет со счетом шесть-три.

– Все, спасибо, – пожал мне руку несколько раздосадованный Джейк, хотя победа все равно оставалась за ним. – Сожалею, но мне пора на службу. Сильвия отвезет вас.

Отвезет? А как же обед? А урок русского языка, наконец? Или репетитору не положено выигрывать ни сета?

Оказалось, что сегодня Кэти занята, а меня, значит, просто проверяли на вшивость.

Я глянул в голубое нутро бассейна, в котором мне не предложили окунуться, и, выпив стакан сока, пошел за Сильвией в дом. В огромном холле, разгороженном так, что он был одновременно кухней, детской и столовой, я с удивлением обнаружил еще двух детей – трехлетнего Джонатана и семилетнюю Джессику. Похоже, имена им придумывал сам Джейк. Тут же находилась и служанка, отвечающая за все три направления, – она нарезала овощи, а Джессика раскладывала их по тарелкам.

– Она из Эквадора, – шепнула мне накрывавшая на стол Кэти. Прозвучало это так, будто мы со служанкой были соседями.

Джонатан смотрел мультяшки в своей выгородке и не обратил на меня внимания, за что получил выговор от Сильвии. Тогда он нехотя поднялся на свои маленькие ножки, подошел ко мне и, руки по швам, энергично тряхнув головой:

– Джо.

В нем уже была горделивая независимость будущего президента компании а, может, и сенатора от штата Калифорния. И каким-то шестым чувством привилегированного отпрыска он уже знал, что я здесь никто и звать никак.

Ему не терпелось вернуться к себе.

– Патриция говорила, что вы журналист... – восстановила мой эфемерный статус Сильвия. – Мы с вами коллеги. Я работаю на телевидении в отделе новостей.

Зачем? Я бы на ее месте не работал.

– Перекусите с моими девочками, я сейчас вернусь, нам с Джонатаном нужно в город, – сказала она и по широкой лестнице пошла на второй этаж. Слыша четкий стук ее узких туфелек на низком каблуке, я не удержался и посмотрел, как она поднимается. Она была великолепно сложена, и, если бы не несколько портящий выражение лица слишком серьезный, какой-то беспокойный взгляд, вполне могла бы и сегодня стать «Миссис Америка». Маленькая точеная головка со строго собранным на затылке волосами делала ее похожей на змею. От нее веяло интеллектуальным холодком.

Вместе с Кэти и Джессикой я уныло поклевал фруктово-овощной салат. Обе с двух сторон ухаживали за мной, как сестры милосердия. В отличие от Джонатана, которого одновременно пыталась накормить служанка, они были прекрасно воспитаны, хотя по-светски раскованны.

Вернулась Сильвия в ярко-зеленом, обтягивающем платье, довольно коротком для матери троих детей, хотя очень идущем ей. Только теперь я заметил, что у нее зеленые глаза. На руках ее позванивали ажурные серебряные браслеты – несколько ожерелий старинного серебра украшали шею. От нее пахло духами «Фаренгейт», – Бесси на каждую ночь кропила подмышки чем-нибудь новеньким, и в запахах я поднаторел. Лицо Сильвии осталось без макияжа и было очевидно, что она нарядилась не для меня, да и едва ли нарядилась, и ей безразлична моя реакция. Да и при чем тут моя реакция.

Нас поджидал то же великолепный семейный бьюик мышиного цвета.

Она посадила Джонатана сзади в специальное детское сиденье, пристегнула ремнем, села рядом со мной, включила зажигание, положила свою смуглую в кольцах руку на набалдашник рычага переключения скоростей и мы тронулись с места.

– Ну так вот, – сказала она ровным тоном, словно продолжая прерванный разговор. – На региональном телевидении я веду новости культуры. И мне подумалось, почему бы нам с вами, Питер, не сделать беседу. Вы сказали, что уже полтора месяца в Калифорнии. Наверняка, уже отложились какие-то впечатления, какие-то мысли. Можете поделиться с нашими зрителями? Мы, американцы, любим про себя слушать...

Господи, кто-то будет меня снимать, слушать! На мгновение я чуть не зауважал себя. Да, впечатлений, дорогие телезрители, масса, хотя особого, так сказать, деликатного свойства... И как джентльмен, я бы предпочел хранить благородное молчание. Да, канечна, американски леди – эта есть атлична, лучши на свъете дженщин есть.

– Денег не обещаю... – продолжала Сильвия. – У нас общественный канал, рекламы ноль. Но так, – в раздумии подняла она плечо, – почему бы и нет? По-моему, может получиться забавно. For the hell of it.

Да, вот именно – от нечего делать. Вы ребята, зажрались. Зачем вам бедный озабоченный русский, бегущий как таракашка вдоль глухого плинтуса в поисках теплой сытой щелки. Мой чуткий нерв не улавливал в Сильвии ни грана личного расположения ко мне. Даже собственная благотворительность не грела ей сердце.

Джонатан захныкал, и Сильвия, свернув к обочине и притормозив, обернулась к нему.

– Опять соску выронил. Просто проблема с этой соской. Уже такой большой мальчик...

Она вполоборота потянулась к нему между креслами, край платья пополз вверх и вдруг обнажил полоску голого упругого бедра, красиво охваченного чулком на ажурной резинке пояса. Я чуть не зажмурился от неожиданности – так не вязалась эта вскрикнувшая интимность с ее суховато-строгой неженской манерой общения.

Она догадалась, что я все видел, однако села как ни в чем не бывало, спокойно оправила платье на бедрах, будто я был ее дуэньей, и мы покатили дальше.

* * *

Патриция удивилась, что я так рано вернулся.

– Хоть покормили? – понизила она голос, глядя вслед «бьюику».

– Так, салатик...

К стыду своему, я не смог скрыть легкого разочарования.

Как и она.

По здравом размышлении я решил отказаться от интервью, или «беседы», как назвала это Сильвия. Ведь я рано или поздно собирался попросить политического убежища, если не осуществлю свои матримониальные планы, и тогда мои взвешенные лояльные ответы сработают против меня же. Обвинят в корысти и лжи. У них с этим четко. Виза же у меня по частному приглашению, неделовая, всего на три месяца – далее зиял провал.

Похоже, Сильвию мало огорчила моя позиция. Хозяин – барин. Она-то думала, что это мне поможет. Интересно, в чем? И тогда становилось интересно, что же ей с Джейком напела Патриция. И все-таки мне показалось, что я слегка уязвил Сильвию. Бедный, но гордый. Мы не рабы. Рабы не мы.

Я занимался с Кэти два раза в неделю по два часа. Час в помещении, час на корте. Она была разуменькая девочка и все схватывала с лету. По моей самопальной методике на корте позволялось объясняться только по-русски. Поэтому «черт», которым я заменил все прочие непечатные выражения, появился одним из первых в Кэтином лексиконе. «Жарко, хочу пить, ничего не получается, вперед, назад, беги, бей, здорово, молодец!» – это все наше с ней начало.

Плюс, естественно, «мяч, вот полотенце, что-то я устала, который час»... Час, к сожалению, был всегда один и тот же – пятый, а точнее, полпятого. Когда и заканчивалось жалкое мое репетиторство, за которое, поскольку обещанные здесь Патришей семейные обеды-ужины, по прежнему пролетали мимо, я в конце месяца рассчитывал на некоторую сумму. По самым скромным прикидкам она должна была составить не меньше трехсот долларов – двадцать за час. Низкооплачиваемый часовой труд стоил в Америке не меньше пяти долларов. Ну, двести пятьдесят, на худой конец – ежели за вычетом салатиков и кока-колы. Хотя сама мысль о вычетах казалась мне смешной.

При нас всегда была Сильвия – сидела поодаль в комнате, что-то вышивая бисером, или под зонтиком у бассейна, нога на ногу, глядя в нашу сторону рассеянным взглядом и думая о чем-то своем. В теннис она не играла по нездоровью – однажды обмолвилась, что едва не умерла, рожая Джонатана; сыну тоже досталось и он наблюдался лучшими специалистами Лос-Анджелеса. Отдельно со мной она почти не разговаривала. Следила за собой, меняя платья и украшения. Часто в ее руке я видел бутылочку джин-тоники – маленький лекарственный глоток через час. Жизнь ее, несмотря на общественный телевизионный канал, мне показалась довольно однообразной.

Отвезя меня домой, она отправлялась с сыном дальше, куда-то в Санта-Монику, к педиатру. Вызов на дом стоил почти вдвое дороже. Значит, и у старины Джейка считали деньги.

Сам он вообще при мне больше не появлялся, великодушно подарив неотыгранный сет.

Сильвия была странным существом, живущим как бы не здесь. Раньше, когда я только начинал свою жалкую журналистскую карьеру, я бы написал, что у нее не все дома, но теперь, к своим тридцати восьми годам, я уже понимал, что всех дома, пожалуй, нет ни у кого, включая и меня самого. Мне нравилось, когда она была рядом, хотя она не одаряла ни душевным комфортом, как Кристина, ни весельем, как Бесси. Она только усиливала фон мои собственных тревог, как если бы, в придачу к ежедневной проблеме выживания, приходилось, скажем, мучительно вспоминать, не остался ли дома невыключенным утюг.

– Вы не были в Санта-Монике? – спросила она в тот раз.

– Еще нет... – сказал я, пытаясь обозначить свободу выбора.

– Еще... – усмехнулась она, вложив в это слово какой-то свой смысл. – Если хотите, можно поехать с нами... И, как всегда, посмотрела мимо, словно находясь от меня за тысячу световых лет.

Я поехал.

После врача, когда я минут сорок просидел в пустой приемной, сонно перелистывая газеты и журналы, мы поехали в ресторан, потому что Джонатану сначала захотелось пить, а потом есть. Сильвия предложила мне присоединиться к нему, но я, хотя последнее время часто был голоден, отказался. В зале недорогого ресторанчика никого, кроме нас, не было, и для хозяина-мексиканца, промышлявшего у стойки, и его помощницы, мы вполне могли сойти за супружескую пару. Схрустев чипсы и лишь раз ковырнув рыбу, наверняка отличную, Джонатан сказал, что раздумал есть, и мы, допив сок, вернулись в машину. Небо померкло и лишь на западе быстро сворачивал свои шмотки короткий зимний закат.

– Вы всегда такой молчун, Петер? – заводя мотор, с некоторым упреком сказала Сильвия, словно была разочарована нашей совместной поездкой.

– Наверное, стесняюсь своего английского, – сказал я.

– У вас нормальный английский, – сказала она. – Может, это я на вас так действую? Скажите прямо, – при этом она обернулась и впервые внимательно посмотрела на меня, дабы проверить прямоту моего ответа.

Чего ей нужно, съезился я, не готовый к такой вспышке интереса по адресу своей персоны. Не приняла ли она в туалете, куда выходила, парочку лишних глотков джин-тоники?

– Вы верите в судьбу, Петер? – продолжала Сильвия, забыв про предыдущий вопрос.

– Верю, – сказал я.

– Вам кажется, что мы случайно встретились?

«Мы? Встретились?»

– Мне кажется, что ничего случайного в жизни нет, – выскреб я из себя эту очевидную банальность, но Сильвия услышала ее опять же по-своему.

Несколько минут мы молча ехали вдоль океана. Сильвия включила дальний свет, и на поворотах он выхватывал из сгустившейся справа тьмы белые гребни волн. Где-то под нами почти неслышно урчал могучий мотор, в кабине тихо шипел обогреватель. Джонатан спал в своем креслице, открыв рот.

– Фу, жарко, – сказала Сильвия, притормозив и свернув с дороги на смотровую площадку. – Пойдемте подышим свежим воздухом.

В темноте шумел прибой, но ветра почти не было. Мы спустились по ступенькам на песчаный пляж, смутно подсвеченный дорожными фонарями.

– Мне надо немного побыть одной, а потом поедем дальше, хорошо? – сказала она, коротко глянув на меня, словно испрашивая разрешение, и ушла вперед. Я видел, как она стоит лицом к океану, слегка расставив стройные ноги и закинув руки за затылок. Она словно забыла обо мне. Так прошло минут пять. Затем я подошел и неуверенно встал сзади. Она слышала мои шаги по песку, но не обернулась. Я решил, что она медитирует, и хотел уйти. Но почему-то не смог. Я стоял в метре за ее спиной и чувствовал, что она чего-то ждет от меня. Я сделал еще шаг – протянул руки и взял ее за груди с двух сторон. Они были напряжены и налиты жадой. Сильвия резко повернулась ко мне, сбросив этим разворотом мои руки, и ее лицо в слабом свете было устрашающе прекрасным.

– Ты... – словно задыхаясь, сказала она, – ты... – и вдруг с коротким сильным выдохом, каковому учат при ударе ракеткой по мячу, резко толкнула меня двумя руками в грудь.

Я упал на песок и был настолько ошарашен, что не спешил подняться. Она медленно подошла и встала у меня в ногах:

– You, you want me? (Ты хочешь меня? (англ.))

Я подумал, она хочет меня ударить, но она с презрительной миной, сделала шаг вперед и царственно встала надо мной, пленив мои бока острыми косточками щиколоток. Затем поставила мне на живот правую ногу, уже без туфельки, и осторожно провела ею вниз. Я протянул ей руки, но тут же услышал резкое, гневное: «Do not touch me!» (Не прикасайся ко мне! (англ.))

Мне показалось, что все это где-то я уже видел. Она снова провела гибкой шелковой ступней по ширинке брюк, нащупывая большим пальцем застежку молнии и короткими подергиваниями спустила ее. Ступня была теплой и чуткой.

– Ремень, – услышал я и, став вдруг страшно понятливым, расстегнулся.

– Труссы...

Я приспустил трусы.

Она задумчиво посмотрела на представшее перед ней зрелище, впрочем, малоосвещенное.

– Чистый? – спросила она.

– Конечно, – сказал я.

– Ничем не болен?

Я молча повел головой из стороны в сторону, слыша хруст песка под волосами.

Тогда она удовлетворенно кивнула и медленно, не сводя с меня мерцающих в темноте глаз, стала приседать. Под платьем она была голой, только чулки и пояс.

В миг соприкосновения она вздрогнула и, сделав лоном неуловимое корректирующее движение, опустилась на меня. Как в космической невесомости стыковка двух кораблей. Но это был отнюдь не ледяной космос, потому что я стал плавиться, плавиться, плавиться...

– Руки! – снова грозно сказала она, когда я хотел взять ее за бедра.

Скрестив пальцы под затылком, локти в стороны, она сама, словно лишь для себя одной тихо поднималась и опускалась, однако чутко слышала меня, разворачивая бедра влево и вправо, чтобы удлинить миг сладкого скольжения. Поворот вправо, видимо, задевал в ней какой-то заповедный уголок – потому что ее плотно охватившие меня колени отвечали на него дробным вздрогом. Это было как микеланджеловское сотворение человека в Сикстинской капелле, как летучая встреча двух в общем-то несоприкасающихся миров, верхнего и нижнего, чтобы один из них возгорелся, а другой лишь глянул на свое отражение.

Голова ее была запрокинута, как впрочем и моя, потому что я видел черную линию обрыва перед дорогой, рваную сеть кустов, каждый раз выступающих из тьмы под светом машин, и крышу нашего бьюика.

Когда я был уже готов полыхнуть в ее сокровенные недра, Сильвия вдруг резко привстала на коленях, бросив меня, но тут же, спокойно взяв рукой, двумя-тремя уверенными нажимами исторгла мое освобождение.

Она молча поднялась на ноги, надела туфли и пошла к машине, потирая друг о друга кончики пальцев. Вид у нее задумчивый и отстраненный. Она словно забыла о моем существовании.

Открывая дверцу и садясь рядом, я почувствовал, что я здесь лишний. Я посмотрел на Джонатана – он так и спал с открытым ртом. Я поднял глаза и встретился со взглядом Сильвии – в нем было все что угодно, только не то, что обычно бывает в такие минуты в глазах женщины. Она почти не пыталась скрыть брезгливого раздражения.

Ничего, перебежешься, злобно подумал я, тут же перечеркнув все, что пару секунд назад сам же восхищенно нагородил в душе.

– Подожди, – сказала Сильвия. – Иди взгляни, что там с задним колесом. Похоже, давление упало.

Я кивнул, послушно спрыгнул и пошел назад, не очень понимая, как я проверю давление.

– Телефон через четыреста метров, – услышал я вслед.

При чем тут телефон, подумал я, но тут дверца впереди захлопнулась, взвыл мотор, и колеса, прокрутившись на месте, в мгновение ока унесли машину, оставив меня в облаке хрустнувшей на зубах пыли.

– Сука! – вслух сказал я.

И пока шел эти четыреста метров, повторял:

– Сука!

Наконец из-за деревьев показалась продуктовая лавочка с телефонной будкой, но у меня не было ни цента в кармане. Оставался только звонок за счет абонента – так называемый collect call. Последний шанс для бесприютных алкоголиков и про штрафившихся любовников.

Что мне сказать Трише? Приезжай за мной в Санта-Монику? И что я там делаю?

Кием груши околачиваю!

Заберите меня отсюда, господа, не доводите до членовредительства.

Патриция приехала только через полтора часа.

* * *

Я считал, что с Сильвией покончено, как если бы перехватил у нее инициативу развязки, но в день наших с Кэти занятий в трубке раздался знакомый рассеянно-спокойный голос. Как ни в чем не бывало, она сказала, что сегодня заедет за мной пораньше, так как ей по пути.

Позвони она дня через три и я бы, наверное, уже оттаял бы, отмяк. Тут же я еще дрожал от злости и был обуян жаждой отмщения. Ночью врываюсь в ее дом – связываю простофилю Джейка, а ее насилую на его глазах. Что-то в духе Куросавы.

Итак, я выслушал ее и, выдержав паузу, сказал:

– Fuck you!

О чем, впрочем, не раз потом жалел.

* * *

Наступало Рождество, пора было подвести первые итоги. Или уже вторые, третьи... Они были малоутешительны. Глупо было валить все на тех, кто по доброй воле давал мне тепло, кров, делил со мной постель или пусть даже лишь оргазм, как с тубиком спермацетового крема. Вина была во мне самом. Что-то я делал не так. Для моих случайных подруг я был лишь экзотической приправой к пресному блюду американской мечты – в духе известного шлягера «га, га Rasputin, тара-тара секс машин!». Не больше. К сожалению, я на все сто процентов оправдал этот миф... Но чем же я еще мог их поддеть, кроме как голым копьём, не имея ни копья в кармане?

Снова прорезалась Микаэла – пригласила на какое-то шествие спидоносного меньшинства в Пасадене.

– Они пойдут вечером со свечами, Петер. Это будет так красиво...

Целый вечер просмеялись мы с Патрицией.

Через день, двадцать пятого декабря, позвонила снова – позвала в гости.

– О, Петер, сегодня такой день. Мы только что приехали из церкви – там так торжественно. У нас елка, будет наш друг с женой-колумбийкой. Ты будешь. Рон Мацушима... Сегодня все мы как братья и сестры.

В общем, понятно – Интернационал.

Патриция идти отказалась, сославшись на свой буддизм, меня же уговорила, хотя я и отнекивался из солидарности, – знала, что в отведенной мне части холодильника лишь одно куриное яйцо да пара сморщенных сосисок.

Я пришел в самый разгар вечера, когда подвыпившей публике было уже не до меня. Лишь Рон обрадовался мне как родному, готовно нашел для меня большую чистую тарелку и навалил на нее целую Фудзияму еды. Видимо, в компенсацию нашего несостоявшегося ресторанного обеда. Сам же вскоре улыбочиво раскланялся и отбыл, а я быстро нагнал остальных и пошел дальше – благо, на столе оказалось вдосталь виски.

– Советико? – переспросила сидевшая напротив смуглая накрашенная красотка, когда Микаэла назвала меня.

– Руссо, – поправил я ее.

– Ты руссо, Бобби руссо, – бесцеремонно ткнула она пальцем в крысиную косичку мужа, рыжего самоуверенного толстяка.

– Я не русский, я рыжий, Габриэла. Jinger, – терпеливо, как ребенка, поправил ее на смеси испанского с английским толстяк Бобби.

Мы болтали о месте нынешней России на современном рынке вооружения – друг Микаэлы и Майка оказался занудливым спецом по этой части, – когда я почувствовал, что кто-то нежно прижимает ступней мою левую ногу. Как если бы под столом оказалась Сильвия. Я перевел глаза и столкнулся с лукавым, из-под опущенных век, взглядом красавицы колумбийки. Прелесть заграницы в том, что ты живешь как бы вне ее морали, которой, в общем, и не знаешь. Да, у тебя нет денег, но нет и табу.

Еще вчера Габриэла была служанкой, а теперь вот стала леди, ровней всем, тем более таким залетным amigo, как я. Она удачно разместила свою красоту, но человеку ведь всегда мало... Короче, девушка из народа слала мне свой горячий латиноамериканский привет и ждала, что я поведу себя как сеньор и настоящий идальго, то есть поимею ее. Но где и как? Я уже был достаточно пьян, чтобы воспринимать мир органично, как пес, задравший ногу на чужое крыльцо.

Я встал, извинился, похлопал себя по карманам, с сигаретой в губах вылез из-за стола и вышел на свежий воздух – покурить... В соседних домах, с рождественскими венками на дверях, тоже шло веселье. На кустах и деревьях горели булавочные огоньки иллюминации. Созвездие Ориона стояло прямо надо мной. О Габриэле я не думал – я просто был пьян и знал, что дальше.

В гостиной моей красотки уже не было. Я прошел мимо по коридору, и остановился у дверей в ванную комнату. Там горел свет и тихо лилась вода из крана. Я открыл дверь и увидел Габриэлу. Она медленно вытирала полотенцем руки – уже и не ждала меня. Я вошел и закрылся на защелку.

Дальнейшее было как вспышка карнавальная петарды, взлетевшей в небо и сгоревшей там веером искр. Габриэла была дикой как сельва, мне же было море по колено, и мы впились друг в друга, как два зверька, заблудившихся в чужом лесу. Не знаю, сколько это длилось, когда кто-то вдруг даванул всем телом в дверь.

– Габи, ты здесь? – раздался голос Майка. – С тобой все хорошо?

– Dios mio! – прошептала Габриэла, змеей соскальзывая с меня – с сумасшедшим взглядом, с потницей на переносице и над верхней своенравной губой.

– Ты здесь Габи? Tu eres bien? – не унимался Майк, будто хотел в нашу компанию.

В единый миг я возненавидел его – это сытое, упакованное, самовлюбленное ничтожество, с аккуратным пробором, тремя детьми, прибыльным бизнесом и презрением к своей матери Каролине, которая так выгодно женила его на Микаэле, навсегда вытащив из нищеты раскладушечной жизни. Я отодвинул Габриэлу в ближний угол и приоткрыл дверь:

– Майк, здесь я. Сейчас выйду.

Я хотел снова закрыться, но дверь во что-то уперлась и, опустив голову, я увидел нагло просунутый в щель ботинок. Этот лишний взгляд стоил мне контроля над ситуацией, потому что Майк рывком распахнул дверь.

– Что вы тут делали?! – обнаружив Габриэлу, бесстрашно пошел он на меня, как полицейский, которого нельзя трогать. У него был взгляд хозяина положения, начальника жизни. – Трахались, да?

– Не твое дело, – сказал я.

– Не мое? – вытаращился он и красиво указал мне на дверь. – Вон из моего дома, грязный русский говнюк!

Все мои унижения на этой обетованной земле ударили мне в голову, затмили разум и, не помня себя, я двинул его кулаком в живот.

Он хрюкнул и, скрючившись, рухнул на колени.

Габриэла выбежала.

Я вышел следом. Но не в гостиную, а на кухню – открыл наружную дверь и оказался во дворе. Две собаки с утробным рыком бросились на меня, но одной я удачно попал ногой в морду и она с визгом откатилась, а вторая поджала хвост и заливалась издали истошным плачущим лаем, пока я через какие-то кусты выбирался на улицу. Обернувшись, я увидел в освещенных дверях парадного входа окаменевшую Микаэлу с горящей свечкой в руке.

Я шутовски поклонился ней.

* * *

Ровно через сутки автобус увозил меня из Лос-Анджелеса.

«Петер, через месяц я уезжаю в Орегон. Ты поедешь со мной?» И вот я действительно, сам этому не веря, ехал. Только не в Орегон, а ближе – в Сан-Франциско, где жила дочь Патриции Энни. После Нового года должна была подрулить и Патриция – на своей «хонде» с котами и скарбом, – чтобы уже затем вместе двинуть дальше. Это план не раз обсуждался, Энни о нем знала, и лишь я до вчерашнего вечера не знал, с кем же на самом деле русская интеллигенция. Все решил Майк, согласившийся не заявлять на меня в полицию лишь при условии, что в Эл-Эе и «духу моего не будет».

Как ни странно, но Триша, ведшая переговоры, была на моей стороне, чем меня окончательно добила. Днем я смиренно купил билет за сорок девять долларов, а вечером она отвезла меня в центр города на автобусную станцию. Я сидел, поджав хвост, – а вдруг Майк передумал и ждет меня там в компании двух дюжих полицейских? Господи, пронеси.

Пронесло, хотя я еще целый час до рейса промаялся в бомжатнике зала ожидания, где изо всех щелей смотрела на меня американская нищета, так похожая на российскую, разве что попестрее.

Могучий негр-водитель прокомпостировал мой билет, я сунул сумку в багажный поддон, сел в кресло к окну, и глядя, как автобус вырывается из тесных ему темных улиц, понял, что теперь я бедняк.

Ночь пошла в бессонной маяте, хотя кресло рядом со мной оказалось пусто, а утром вдали, на сиреновом бессолнечном экране неба, как на странице детской книжки, встали небоскребы, обведенные по случаю праздников тысячами лампочек иллюминации.

Сан-Франциско.

Со станции я позвонил Энн – она сказала, что будет в «tan coloured Datsun»¹.

– Tent covered?² – переспросил я, потный от волнения, что что-нибудь перепутаю.

¹ «желто-коричневом Датсуне» (англ.)

² С брезентовым верхом? (англ.)

«Датсун» оказался затрапезной колымагой с выщипанной обивкой. Энни была в матушку – босиком.

Днем она со смехом передавала Патриции наш разговор, и та на другом конце провода в далеком теперь Лос-Анджелесе радовалась за нас – слава богу, мы приняли друг дружку. Да, возможно. Но не более. В общем, Энн мне не понравилась. Кому нравится бедность. Ей было лет двадцать пять-двадцать восемь – замкнутая, в черно-сером, с мрачноватым взглядом, в котором иногда мелькало что-то затравленное. Ну да, тяжелое детство, насильник отчим по имени Рон Мацущима... Со мной говорила мало и лишь по делу. Даже с Патрицией у нас случалась игра, легкость, свобода – а тут я будто тащил на себе мешок ее молчания. Где-то она училась, но не доучилась по причине хронического отсутствия денег, читала какую-то околофилософскую муйню, лежа днем в одежде под одеялом, изредка пиликала на скрипке. Осколки родительских амбиций... На жизнь зарабатывала на рыболовецком пирсе. Раз в неделю маленький сейнер ее хозяина-итальянца выходил на середину бухты и возвращался с сетью креветок и прочих щиплющихся. Она на берегу сортировала...

Энни занимала две комнаты на втором этаже деревянного дома, очень похожего на тот, где жила Патриция. Когда я попытался отнести стиль постройки к поствикторианскому, она меня поправила:

– No, Edwardian.

Этим торговым стилем, выжившим в нескольких землетрясениях, было застроено полдеревянного Сан-Франциско.

На этаже, кроме обширной кухни, было еще две комнаты, занятые молодыми жильцами, – Энни же была, так сказать, ответственной съемщицей. По вечерам к ней приходил мексиканец, тихий и скромный юноша, работавший на почте в отделе посылок. Английского он не знал вовсе, и она говорила с ним по-испански.

Мне она выделила свою гостиную – с прекрасным фонарем окна на три стороны света. Впрочем, за окном не было ничего отрадного глазу – мы жили в мексиканском квартале. Спать в гостиной было негде – старый кокетливый диванчик с гнутыми подлокотниками и стонущими пружинами (видимо, с помойки) вмещал меня лишь на две трети. Две ночи я кое-как перемучился, то складываясь в три погибели, то выпрастывая ноги или голову, а на третью перекинулся на пол – благо, у Энни нашелся спальный мешок.

В гостиной стояла елка, а круглый колченогий столик перед окном был по-новогоднему декорирован большой плетеной тарелкой, полной крупных мандаринов с необрезанными зелеными черенками. Каждый день я потихоньку уменьшал их количество, стараясь расположить оставшиеся пошире. Питался я, естественно, за свой счет. Выходило – на пять долларов в день. Однако большой общий холодильник был забит до отказа, и я пощипывал тут и там, добавляя к ежедневному рациону еще доллара на два. Хуже с метро – проезд в одну сторону стоил доллар.

Сосед за стеной оказался гомиком, другой – рок-гитаристом, временно не у дел. Гомик был похож на банковского служащего, ходил мимо на цыпочках с загадочной улыбкой, гитарист, вежливый парнишка, спрашивал о судьбе рока в России. Гикнулся – отвечал я.

В Сан-Франциско было холодно – утром лужи были покрыты льдом, днем термометр показывал градусов сорок пять по Фаренгейту, то бишь, около семи.

Если у Патриции я мерз, то здесь стал просто околевать и под Новый год уже кашлял, как туберкулезник. По этой причине на Новый год я остался дома, хотя Энни со своим мексиканцем звала меня на пирс номер шесть, где в каюте сейнера собирались ее друзья. В тот день голос у меня совсем пропал и я сипел почище Фрэнка.

Как там они?

* * *

Утром первого числа позвонила Патриция – сказала, что еще так и не собрала вещи, да и тормоза у машины барахлят.

– Ведь ты побудешь там еще недельку, Петер?

Я просипел – о'кей.

Даже не спросила, что с моим голосом. Похоже, я уже всех достал.

В большом дешевом универмаге «Вулворт» я купил себя за три доллара шерстяную вязаную шапку, какие здесь носили только негры, и по ночам натягивал ее себя на голову до глаз. Делать мне было абсолютно нечего, и я каждый день, как на работу, отправлялся в город. Просто так, чтобы ходить, а не мерзнуть. Я исходил его весь. А если было далеко, то садился на автобус. Все-таки немного дешевле, чем метро.

Патриция дала мне телефон Ширли Русако, но, несмотря на всю свою радость по поводу моего приезда в Сан-Франциско, детская писательница не выразила ни малейшего желания со мной встретиться. Оказывается, у нее ремонт. Прямо, эпидемия какая-то. Впрочем, я знал, что так и будет, – еще в Лосево, когда однажды заскочил в смердящую лагерную уборную на одно очко, где задастая Ширли не закрылась по незнанию. Кукарекнув, она в ужасе спрыгнула с насеста и, помню, еще тогда я подумал, что этот конфуз выйдет мне боком.

Я ходил в своем длинном кожаном турецком пальто, наконец-то приготившемся, и считал, что надежно закамуфлирован в разномастной толпе, однако в каком-то магазинчике вдруг услышал в свою спину от хозяина-продавца тихое, насмешливо-ядовитое, с хорватским акцентом: «Кей-Джи-Би? Давай-давай». Я сделал вид, что это не ко мне.

Почти каждый день я слышал на улицах русскую речь, но она скорее вызывала у меня протест и ревность собственника – какие еще тут хрен с редькой лезут на мою территорию. Хотя было совершенно очевидно, что они живут здесь, и довольно давно. Однажды в скверике за станцией метро Сивик Сентр я попал на сбор русско-еврейской общины по неизвестному поводу – как если бы оказался в вяловатой толпе на Дворцовой площади на презентации какой-нибудь там «Гербалайф». Между родителями бегали дети – резвились, те делали им замечания. Ни одного английского слова. Не попроситься ли мне здесь на работу, подумал я. Не попросился.

Возле той же станции метро в щели, где можно было купить дешевую пиццу, всегда стояла очередь, а у входа в большой универмаг каждый день сидели четыре негра, колотя в большие стеклянные бачки из-под воды. Что-то им перепало от прохожих. Во всяком случае, это был заработок.

Деньги мои, несмотря на страшную экономию, убывали как из незавернутого крана.

На улицах тут и там попадались живые манекены. Стоит человек на тумбочке в дурацкой позе выключенной куклы, затем включается – делает несколько механических движений и снова замирает. Как ни странно, эти тоже что-то наскребали на хлеб. Американцы любят механических дуриков. Один из таких манекенов был явно русский парень, забредший в Америку ради приключений на свою задницу. Он встретился со мной взглядом и тоже меня вычислил. По этой причине я молча пошел дальше, а он остался на своем ящике из-под бутылок. Работал он хуже других. Несколько раз на главной улице мне попадалась грустная девица, сидевшая у стены на тротуаре, – студентка с виду. «Ищу работу» – было написано на картонке перед ней. Хотелось к ней подойти, тем более, что она меня заметила, но я не подошел – лишние расходы...

На смотровой площадке Телеграфного холма познакомился с белесым, как мышь в муке, художником из Ирландии – продавал туристам свои виды Сан-Франциско. Болтался здесь уже пятнадцать лет – в Ирландии нет заработков. Он охотно дал мне свой адрес, узнав что я из Питера, хотя в России никогда не был – что ж, будет где переночевать, если я уйду от Энн. Да, я уже подумывал уйти. Идея двигаться с Патрицией дальше на Север была, конечно, чистым безумием.

Помню наши с ней поиски объявлений в газетах о продаже недвижимости в Орегоне. Одно подошло – то ли дом, то ли хлев. Стоил как раз 12 тысяч накопленных ею долларов. Зачем мне в Орегон – там лежит снег и, серый, падает целый день с неба на мои мечты и надежды. Протекает наша соломенная крыша, а в щели дует безденежьем и безнадегой... Патриция прядет свою пряжу, а я ловлю неводом кильку. Разбитое корыто «хонды» унесли муравьи.

Продрогнув, я заходил погреться в роскошные универмаги – от дешевых они отличались тем, как на тебя смотрели продавцы. В дешевых ты был дерьмом, а в дорогих тебе все же улыбались, как джентльмену – на всякий случай. Сам видел, как небритые бомжовского вида огузки влезают в роскошные автомашины. Я отвечал улыбкой на улыбку, стремительно проходя дальше, будто мне в другой отдел, будто я знаю, что именно мне нужно. По большому счету я все это плебейски ненавидел – этот шмоточно-бытовой бомонд, который я НИКОГДА НЕ СМОГУ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ. Да я теперь и был плебеем.

Патрицию весьма огорчило негостеприимство Ширли, и она продиктовала мне телефон Лидии Гуди, хозяйки бюро по обучению иностранным языкам, в том числе и русскому. Та была из России – пензенская, но вот тоже приехала, зацепилась, вышла замуж, открыла свое дело.

Не то, что ты, Петер, улышалось мне.

– Только она такая смешная. Потом мне расскажешь...

Я, конечно, позвонил, сослался на Патрицию.

– Что ж, приезжайте, – без энтузиазма ответила Лидия, переходя на русский язык, как на постные щи, – и назвала адрес своей конторы, между прочим в самом центре Сан-Франциско, на Монтгомери-стрит. Голос у нее был нагловатый. Дескать, шатаются тут всякие.

В тот день у меня была температура, но поскольку я ее не мерял, то мог считать себя здоровым. Даже вроде кашлял меньше – больно уж много значила теперь для меня такая встреча.

В назначенный час я добрался до Монтгомери-стрит, вошел в солидный вестибюль административного здания, занятого разными конторами, поднялся в солидном лифте на восьмой этаж. Тяжелые деревянные двери, широкие коридоры, высокие потолки, мало света – стиль пятидесятых годов.

Лидия Гуди показалась мне поначалу хабалкой, но сердце у нее оказалось доброе, бабье. Все пыталась мне доказать, что Питерский университет – это говно, вот у них в Пензенском педагогическом... Посмеялась над моим английским, хотя сама говорила с ужасным акцентом. Притом была страшна, как смертный грех. Носатая, с пучком пакли вместо волос. Но разворотистая.

Что ж, гордись своими дочерями, Россия.

Впрочем, начинала с продажи фиалок на перекрестке. Подумаешь, журналист. Кому ты тут нужен, а цветы всем нужны. Встань и продавай. Могу дать тебе стартовый капитал – сто долларов. Вернешь через две недели. Видимо, очень хотелось ей, чтобы я прошел теми же кругами унижения. Я же понимал – встань я с цветами и больше не поднимусь. Надо было стартовать со своего уровня или не стартовать вовсе.

Оскорбилась, что не хочу быть черненьким, но тут же бросила передо мной, беленьким, газетную заметку:

– Вот. Нам позвонили из рекламного агентства, попросили перевести.

Я прочел – гастрологи Русского балета из Тьмутаракани.

– Двадцать долларов, – сказала она, правильно поняв мой взгляд.

Я сел в уголке, вынул карманный словарь и стал переводить.

Заметила словарик, насмешливо хмыкнула, но промолчала. Это было вроде экзамена. Что же я могу? Я, скажем, могу здесь преподавать русский для иностранцев. «Жарко, хочу пить, ничего не получается, вперед, назад, здорово, молодец!» Да, лучше для иностранок, по собственной оригинальной методике.

С час, обливаясь потом и утираясь мокрым носовым платком, я мурыжил эту заметку – наконец молча отдал.

– Долго, – пробежав глазами, сказал Лидия. Но одобрила, вынув из ящика стола двадцатидолларовую бумажку. Целый капитал! За час работы. Как в лучших домах Калифорнии. Я тут же полюбил Лидию Гуди. Никто еще мне здесь таких денег не давал, хотя я не раз трудился в поте лица.

По поводу дальнейшего она пока ничего определенного сказать не могла.

– Не знаю, – пожала плечом, – пока я сама преподаю русский. И потом у нас еще есть один московский поэт.

Какой еще к черту поэт?! Задушу собственными руками.

– Вообще мы все время расширяемся, – продолжала она, что-то прикидывая, – спрос большой. Но не так на русский, как на французский, испанский... У нас даже японец преподает. Как раз сейчас идут занятия – в трех аудиториях. Скоро закончатся, – посмотрела она на часы. – Могу познакомить тебя с кем-нибудь из изучающих русский. Погуляйте – поболтайте. Им нужна практика... – Видимо, я ее устраивал по каким-то причинам. Может быть – из-за дешевизны.

Так в моей записной книжке появилось два драгоценных телефона: Кристины, которую я тут же перекрестил в Кристину-2, и Джанет.

Кристина-2 была сухощавой бледнолицей женщиной лет тридцати пяти, сразу спокойно примерившей меня внимательным взглядом для своей одинокой постели, а Джанет, веселое цветущее создание с мощными бедрами и узкой талией, просто обрадовалась возможности бесплатно продолжить столь полюбившийся ей русский. Торговая фирма, в которой она работала, планировала выйти на российский рынок. Как все иногда замечательно сходится! Я сказал, что за всю Россию не отвечу, но про питерскую торговлю кое-что могу сообщить – все-таки занимался не какой-то там культурой-мультиурой, а социальной сферой.

Да, вот таким макаром. Еще час назад я был никто, вошь в безопорном прыжке, а теперь вот советник по торговым связям, кандидат в «пырпырдавательлы рьюсскава йазыкха».

С двадцатью долларами в кармане я добрался до пирсов, купил себе за три с половиной доллара булочку с креветками в майонезе и впился в нее зубами – никакой ужин со свечами не мог идти в сравнение с этим.

На следующий вечер мы сидели с Джанет в баре выбранного ею итальянского ресторанчика – пили горячее кьянти. Веселый бармен, типичный итальянский мафиозо, заверил, что оно поможет моему горлу. Джанет ему нравилась, и он охотно откликался на каждое ее пожелание, мне же как бы завидовал, восхищенно покачивая головой, – ох, уж эти русские ухари... Народу было полно, дым стоял коромыслом, слышалась разноязыкая речь, и я подумал – вот так буду жить. На таком вот уровне. НЕ НИЖЕ...

Называется – НИША.

Потом Джанет довезла меня на своей скромной, но очень целенькой, машинке до квартиры, которую снимала наполовину с кем-то, где мы и продолжили нашу полуинтеллектуальную беседу на разные темы. Я был раскован, но корректен – боялся спугнуть девочку. Мы сидели на полу в салоне, который был одновременно кухонькой, и болтали, потягивая купленное там же, в ресторанчике, винишко. Телевизор был включен и помогал нам исподволь раскручивать наш собственный сюжет. Попытка перейти на русский успеха не имела – оказывается, Джанет занималась всего две недели. Что ж, это даже хорошо.

Тем временем, Джанет – в голубых джинсах, узком свитерке, прилегла на бочок, будто позируя мне, оперлась на локоть, положила аккуратно ноги, коленка на коленку, явив свой роскошный, как у бокала, переход от узкого к широкому... Словно говорила – смотри, какая я красивая да ладная.

Теперь было можно – и я потянулся к ней.

Потом мы перебрались в ее огромную, как у всех американцев, постель. Мощный приветливый портал ее зада предварял вход в узкую молодую гладкую щелку.

– Мне хорошо с тобой, Питер.

– И мне с тобой, Джанет.

– Как будет по-русски «я хочу тебя»?

– Так и будет.

Утром я вышел на ее балкончик и ахнул. В распадке между домами, отороченными снизу порыжелой листвой стартовала в небо Трансамериканская пирамида, самый высокий небоскреб Сан-Франциско. Как же это я его раньше не замечал?!

Мы скатились с крутой нашей улочки и по случаю воскресенья перемахнули по знаменитому мосту Золотые ворота, который был на самом деле ржаво-красным, на ту сторону бухты в Марин-Каунти, и оттуда я увидел Сан-Франциско, далекий, белый, прекрасный, как из Диснейленда. Трудно было поверить, что еще позавчера я загибался в нем.

Вернувшись, мы отправились в высотный отель «Марриотт» и там, сидя в кафе на пятьдесят восьмом этаже, я увидел внизу этот чудо-город, открывший наконец мне свои объятия. Вечером Джанет познакомила меня со своим соседом, симпатягой Ником, который был во всех отношениях лучше и удачливей меня, так что оставалось загадкой, почему моя новая подружка спит не с ним, а со мной. Некоторый новоприобретенный опыт подталкивал меня к мысли, что здесь, в Америке, прослеживается как бы дефицит мужского начала. Я ничуть не сомневался в том, что оно есть, но, похоже, его часто расходовали по другому адресу и весьма экономно. В связи с чем тысячи рассерженных американок выражали свое «фэ!»

Так что мои упования сохраняли под собой почву. Вот, скажем, Джанет, – почему бы ей не полюбить меня? Правда, неизвестно, во что превратится через лет двадцать ее большой красивый молодой зад, ну да зачем так далеко заглядывать.

Короче, я сделал выбор.

В понедельник Джанет с утра поехала на работу, подкинув меня к ближайшему метро. Вечером я должен был ей позвонить.

Энни, как почти всегда, была дома – посмотрела на меня не более внимательно, чем обычно. Ничего не спросила. Впрочем, я ее предупреждал, что дома меня не будет. В квартире по причине экономии электричества было как в холодильнике, так что я снова закашлял. Пора отсюда перебираться. Я на всякий случай подтянул свои вещички поближе к сумке. Достал со дна ракетку. Ник говорил, что можно поиграть бесплатно где-то в зале у одного его знакомого. Вечером я позвонил, и Ник мне ответил, что Джанет еще не пришла. Не было ее и в первом часу ночи. Потом вместо Ника я услышал голос Джанет, но это был автоответчик. Я бодро передал, что люблю, скажу, целую. Мягко пожурил за отсутствие.

История повторилась и на следующий день – Джанет не было.

– С ней хоть все в порядке, ты ее видел? – спросил я Ника.

– Да, с ней все о'кей, – невозмутимо отвечал Ник, похоже, не участвовавший в заговоре.

И только заполночь я напоролся на живой веселый голос Джанет.

– Где же ты была? – нежно укоряя, забормотал я. – Я так соскучился...

– Это ты Питер? – протянула она смущенно и повторила, почти пропела в два слога удаляющееся «Пи-тер», – словно прощалась со мной, после чего в трубке раздались гудки, а потом включался лишь автоответчик.

Что ж, на нет и суда нет, Джанет. Но все-таки жаль, что ты пока не понимаешь великого и могучего русского языка.

Ночью в гостиную из комнаты гомика открылась всегда запертая дверь, и я слышал, как он босиком протопал мимо за своим телевизором, оставленным здесь по случаю моего отсутствия. Из его постели раздавался капризный голос другана. Окно, освещенное ночным фонарем, искрилось инеем, и я забился с головой в лыжной шапочке в спальный мешок, но все равно закоченел на полу и утром снова кашлял, как припадочный.

После кофе с молоком немного отошло, и я набрал номер телефона Крис-2. К счастью, застал.

Болею вот, потому и не звонил. Таблетки пью. (Таблетки мне покупала коварная Джанет. Четыре с половиной доллара, двойной креветочный гамбургер).

Какие еще таблетки? Надо греться, греться, греться. Приезжайте ко мне в отель – я вас мигом вылечу.

И проглочу – услышалось мне.

Оказалось, что работает в сауне при гостинице. Массаж и прочее программное обеспечение.

– Из массажей я предпочитаю эротический, – позволил я себе смелую шутку, как настоящий баловень прессы, приехавший оттянуться в Калифорнии, питерская штучка...

– Сначала вас надо вылечить, – ответила Крис-2, не желая обсуждать вопросы эроса с человеком, у которого фарингит в запущенной форме.

Я оделся и – ноги в руки – помчался, то бишь поехал на метро – доллар в один конец – на какую-то там стрит почти в самом в центре. Направо, прямо, снова направо, а потом наискосок.

В другой раз ни за что бы не нашел, а тут ноги сами принесли.

В сауне солидной гостиницы звучала тихая солидная музыка, парнишка-негр разносил большие белые махровые полотенца, насвистывая адажио из Лебединого озера.

– Мистер любит Чайковского? – спросил я его.

– Нет, сэр, но выбирать не приходится.

Крис-2 появлялась и исчезала, обслуживая невидимых клиентов. Белая футболка под лямками черного трико, как для занятий аэробикой, светлые негустые волосы до плеч под ленточкой, чтобы не падали на бледное лицо, слегка попорченное на скулах в прыщавую подростковую пору. В целом – вполне. Гибкая, прямая, плечи откинута, как бы бывшая спортсменка – сядет на шпагат как нечего делать. Открыла мне горячую кабинку. Я разделся, взял полотенце, закрылся, напустил пара, и дышал, дышал, в солидном одиночестве – почище, чем мой бывший кореш Фрэнк.

Действительно полегчало.

Крис-2 сегодня работала допоздна, сказала, что ждать ее не имеет смысла, – договорились, что сегодня я как-нибудь перемогусь, а утром мы встретимся, вместе позавтракаем и так далее... Спросила, где я живу и у кого. На прощание еще раз внимательно ощупала меня взглядом насчет «так далее». Вела себя сдержанно, почти официально, но видно было, что удовлетворена знакомством. Ввиду новых перспектив и нагрузок я съездил на рыболовецкий причал, позволив

себе булочку с креветками, посмотрел на старого бомжовского вида морского льва, ошивавшегося среди суденышек. Вынырнув, он принимался орать, как оглашенный, требуя от зевак лакомства. Ему что-то бросали. Да, помереть здесь не дадут.

И снова утро – свежее, солнечное, с легким морозцем. На освещенных углах толкуются бездомные, пытаясь ухватить толику нисходящего небесного тепла, слава Богу, ночь миновала, все живы, хоть и больны. Я же – почти здоров. Иду себе легкой походкой, откидывая коленями длинные кожаные полы пальто, как жесткий панцирь, чтобы выпростать из-под него свои легкие гибкие, прозрачные крылья, оттолкнуться и взлететь. Крис-2 – тоже в длинном, черном, кожаном. Таких вот два жука. Встречаемся на углу, улыбаемся друг другу, идем вместе. Слева от нас вдали парадно надул щеки помпезный Сити-Холл, что-то вроде гибрида Казанского собора с Русским музеем, рядом на воскресном толчке – импровизированный рынок, тоже совсем как у нас, и от всего этого на душе как-то понятней и спокойней.

Завтракаем однако в сомнительной забегаловке, открывающейся, видно, только по воскресным дням, поскольку в остальные дни тут какая-то контора. Оладьи, еще раз оладьи, варенье, чай. Я предполагаю, что Крис хочет уложиться в небольшую сумму – предупредила, что это она меня пригласила – но получается не очень-то дешево – восемнадцать долларов. Денег своей новой подруги мне жаль не меньше, чем своих. Ну да ладно.

И снова Лебединое озеро, парнишка-негр, махровые полотенца, пар, кашель. Крис-2 исчезает и появляется, словно проверяя мое наличие. Я в наличии, но уже упарился, и меня начинает подташнивать от Чайковского. Договариваемся, что к шести я буду как штык. А пока я всего лишь перочинный ножик, складывающийся от кашля.

Шатаюсь по городу, забредаю в Голден-Гейт-парк, сдуру пью чай из ромашки в японском чайном садике, где все гораздо дороже, брожу по пустынным аллеям среди красивых мощных пихт, сосен и кедров, вспоминая бердяевское замечание, что у нас в России даже природа бабья, и что-то мне совершенно не хочется возвращаться в парной подвал к Крис-2. Эдак в одно прекрасное утро я в синей униформе напару с негром буду разносить полотенца надменным обитателям пятизвездочного отеля или массировать их холеные туши. Насвистывая Чайковского, за неимением выбора. Нет выбор – всегда за мной.

Сижу в парке на скамье. Негр убирает мусор – листья, банки, бумажки. Он убирает, а я сижу. Все-таки есть между нами разница.

Какой-то маленький белый шарик скатывается с придорожного холма к моим ногам. Я поднимаю его тяжелый, резной скелетик. От гольфа, что ли? Словно подтверждая мою догадку, наверху возникает игрок в белой шапочке, увидев меня, улыбается, просит бросить ему эту штуковину. Я размахнулся – она красиво полетела в его сторону. Возможно, даже попала в лунку. Мне показалось, что когда-то давно я уже видел такой сон. Все было точно так же – деревья, холм, человек, ажурный шарик, и я внизу. Я попытался вспомнить, что было во сне дальше. Но во сне ты всегда посередине сюжета. Что до и после – это уже не сон. Но я и так уже знал, что дальше. Надо возвращаться. Нет, не в Россию. Она и так маячила за спиной, как брошенная жена, готовая все простить. Надо было возвращаться в Лос-Анджелес.

Я так и не зашел к Крис-2, а поехал прямо домой. И вовремя. Оказалось, звонила Патриция. Она не приедет. Более того, в ближайшие три-четыре месяца она вообще никуда не поедет.

– Почему? – изумился я, чувствуя огромное непонятное облегчение, будто впереди был выход из лабиринта.

– Мама сломала ногу, – мрачно сказала Энни. – На ровном месте. Из машины вылезала. Это только она могла.

Энни ходила предо мной взад-вперед, суровая, кутаясь в темный платок.

– Тогда я возвращаюсь, – решительно сказал я. – Ей нужно помочь.

– Давай, – сказала Энни, странно посмотрев на меня, будто знала еще что-то. Кстати, пока единственный человек, которому я, похоже, не был в тягость. Не раз слышал от нее: «Хочешь – живи здесь». Она не участвовала в моей жизни, но все же я время от времени ловил на себе ее сторонний вопрошающий взгляд – дескать, справляюсь ли.

Энни, Энни, прости меня. Ты думаешь, я не понимаю, что я сукин сын, кот без сапог, свинья без ермолки? Все я понимаю. Но меня заклинило, Энни, чувства мои заклинило, и я, как отмороженный, бегу-бегу-бегу...

С ее разрешения – дорого все-таки – я позвонил Патриции.

– Конечно, приезжай, Петер, – каким-то беззащитным голосом сказала Патриция. – Только есть одна проблема – у меня негде жить. Я больше не снимаю студию.

Я понял, почему она сломала ногу. Как же и ей не хотелось ехать со мной в Орегон. Знала, что я ей ничего не принесу в неводе, кроме выцветших кальсон какого-нибудь там папаши Тхе, приплывших из Китая.

– И как теперь? – сказал я упавшим голосом.

– Ничего, ты можешь пока пожить у Стефани. Она не возражает...

– Стефани? – переспросил я. – Я ее знаю?

– Помнишь, англичанка. Она еще хотела с тобой познакомиться. Запиши телефон. Она говорила, что может тебя встретить.

Энни отыскала в зеленых страницах Сан-Франциско уже известную мне автобусную компанию «Грейхаунд», заказала билет, и я, набрав в легкие воздуху, позвонил в Лос-Анджелес неизвестной мне благотельнице.

У Стефани был приветливый голос и – Боже! – такой понятный, как в учебнике, английский, что у меня слезы навернулись на глаза. После этого жвачно-квакающего американского диалекта, лишь по недоразумению называемого английским языком, я слышал речь чистую и прозрачную, как родник. Я вдруг ощутил себя европейцем, носителем одной, общей, великой культуры – Шекспир-Рембрандт-Достоевский. Господи, ты опять протянул мне свою щедрую длань. Прости, что я пока не молюсь.

И вот рано поутру я ехал в обратном направлении и теперь, на свету, мог хорошенько разглядеть окрестности – впрочем, вид был один и тот же: слева вдали горы, пустынная земля, изредка изумрудная полоска чего-то недавно высаженного, да сами фермерские ранчо – дом, добротный сарай, пара автомобилей, трактор и еще какая-нибудь пристройка для сельхозпереработки. Была бы осень – нанялся бы сезонным рабочим, все лучше, чем фиалки на перекрестке.

Где-то справа, в непосещенном заповеднике остались позади знаменитые секвойи – стометровые старушки, пережившие свое детство еще до рождения Христа. Где-то на Биг-Суре истаял вдали домишко патриарха американского эрочтива Генри Миллера. Теперь там селятся благодарные сексуальные меньшинства, явно по недоразумению принявшие его за своего.

Прощай Сан-Франциско. Прости меня, Крис-2, мне бы не понравились твои усталые, в креме, пальцы. Будь ты богатой, я бы восхищался ими, каждому я дал бы имя и поутру лобызал бы их вместе и поврозь...

Размышляя о будущем, я понял одно – надо отбросить идею запудрить кому-нибудь мозги через чресла. Мозги отдельно – чресла отдельно. Американские чресла работают автономно. Вспомним того же старикана Миллера. К тому же, он путался в основном с потаскушками, что, так сказать, организационно, с точки зрения мужской предприимчивости не стоило никакого труда.

Ясно, разъезжай я на «линкольне», спали бы со мной взахлеб. А так лишь впроброс, впромельк – из чистого любопытства. Опять же недорого. За рыбку со свечкой.

Надо попробовать просто пожить – с той же Стефани. Англия – не Америка, великолепная, скажу вам, дамы и господа, страна. Дубы, замки, Биг Бен опять же. Скучновато, конечно, но надежно. ПОТОМУ ЧТО КОРНИ. А тут ничего такого нет. Все как пережари-поле – сел, сунул свой домишко в трейлер и поехал, укусив гамбургер, обсыпанный кунжутом.

Это еще мне Крис говорила в открытом ресторане на берегу океана. Американцы не любят проблем и решают их просто – меняют партнеров, переезжают в другое место. Никто никому в душу не лезет. Да и есть ли она у них?

Душевная приязнь – туфта.

ПОТОМУ И НЕ ПРИВЯЗЫВАЮТСЯ.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

В шесть вечера Стефани встречала меня на условленной остановке. Договорились, что она меня сама узнает – узнала. Я бы нет – всегда ведь ждешь большего, так мы устроены. Но в общем она была ничего – почти с меня ростом, породистый нос, доставшийся англичанам явно от римлян, руки красивые, губы бантиком. Умный взгляд больших карих глаз. Приветлива. Была в каком-то коротеньком манто – не меховом, а из шерстяных ниток. Бедна, но с претензиями. Сели в ее машину – огромную, исправную, хотя одной ногой – уже на автомобильной свалке. Внутри пахло перегретым мотором.

От самой же Стефани пахло хорошо.

Но главным было не это. Главное – в Эл-Эе было тепло. Градусов двадцать по Цельсию. Зимнее лето. Тихо струились листья в закатном свете. Легкий нежный ветерок. И я сразу перестал кашлять.

В Пасадену не хотелось, и мы до нее не доехали. Остановились раньше, на Игл-Рок, поднялись по лесенке мимо дома с садиком и оказались перед крыльцом другого – добавочная дверь с сеткой от насекомых, ключ под половиком, прямо как где-нибудь в Крыму. Внутри чисто, почти красиво, цветы в вазе, и – Господи! – тепло. Прискакал какой-то кошачий. Маленький и всего один.

Раздевайтесь, отдыхайте.

До трусов? – чуть не брякнул я, охмелев от уюта.

Но в любом случае сначала надо было поесть. Да и литровая бутылка уже приветливо стукнула передо мной донышком о низкий столик. Калифорнийский рислинг. Примерно, пять долларов.

Умею ли я готовить?

Не очень. Хотя и веду холостяцкую жизнь.

Так, я холостяк... Сообщение было воспринято явно положительно.

Да, в Питере она была, правда, всего неделю в восемьдесят восьмом году. На книжной ярмарке – служила тогда в одном издательстве. Да, город красивый, но ужаснули пустые прилавки магазинов и очереди.

Очереди? Даже я успел забыть, что это такое.

Я сидел, потягивая вино, а Стефани готовила за открытой на кухню дверью обедец. Я смотрел, как она движется, как ходят под мягким свитером ее солидные груди, и с каждой минутой она

навивалась мне все больше. Крупная женщина. И хотя я всегда предпочитал маленьких, с крупными все получалось легче. Вино меня быстро разобрало, и я подтянулся к кухне.

Так все-таки что я умею?

– Чистить овощи и резать их на мелкие кусочки, – сказал я.

– Это много, – сказала Стефани и поручила мне овощи.

Я старательно помыл и нарезал, как было велено. Разве что мельче, чем требовалось. Ну, это от радости. У половины из овощей я не знал названий.

– Может, вы хотите мяса? – спросила Стефани, – я его почти не ем.

– Мясо на ночь вредно, – покривил я душой.

Стефани бросила мои овощи в кастрюльку на плите и сняла передник.

– Теперь подождем... Почему-то хочется выпить. Обычно мне не хочется.

– Это потому что у вас нет собутельника, – пошел я в разведку.

– Есть. Дотти, мы снимаем с ней это жилье. Она каждый день прикладывается.

– А где она?

– Скоро придет.

– А... – сказал я.

– Да вы пейте, – сказала Стефани, сама налила себе и по новой наполнила мой высокий бокал.

Мы чокнулись и я сделал большой глоток.

Стефани поморщилась и потерла пальцами лоб :

– Целый день голова болит.

– Могу снять боль, – сказал я.

– Ты умеешь?

– Надо просто помассировать. Когда-то у меня были мигрени и я научился. Но помогает не всем. А от некоторых и у меня самого может заболеть голова.

– Надо уметь защищаться, – сказала Стефани.

– Как?

– Скажем, вымыть руки.

– Откуда ты знаешь?

– Я сама лечила, когда жила в Кейптауне.

– Ты жила в Кейптауне?

– Да, семь лет. Рай.

– Тогда зачем ты приехала сюда?

– Только в США есть школа Новой религии. Я сейчас хожу на курсы. Руками я могу помочь одному человеку. А словом – сразу многим.

Новая религия, новая религия...

– Тебе что-нибудь говорит имя Кристина Тилни? – спросил я, стараясь не выдать волнения.

– Конечно, она читает у нас лекции.

– Можно еще вопрос? – сказал я.

– Хоть три.

– Это она рассказала про меня?

– Нет, про тебя я узнала от Каролины. Еще в ноябре. Мы же с ней вместе работаем. Но я была очень занята. Летала в Лондон – надо было взять кое-какие документы. А то я тут жила без всяких прав...

– И в ноябре ты позвонила, чтобы что?

Я уже выпил достаточно, чтобы не думать о последствиях подобных вопросов, – меня вдруг стала разбирать щепетильность.

– Так просто, – пожала плечом Стефани, не улавливая никакого подтекста. – Каролина говорила, что ты очень одинокий. И я еще тогда решила пригласить тебя на обед. Я знаю, что такое одиночество в Америке, хотя уже второй год здесь.

– В вашей церкви все такие добрые? – наступал я, уже понимая, что же меня так задевает. Меня задевала философия, вера, в которой мне, индивидууму, цена как за пучок сельдерея в базарный день. Для них я был просто человеческим существом, о котором нужно проявлять заботу независимо от того, какие у него мозги и чресла. По большому счету я только что открыл для себя горькую истину, с которой надо было еще переспать, – Крис, моя Крис меня тогда просто пожалела, исходя из высокой философии принесения себя в жертву ближнему. Теперь меня передали жалеть Стефани. А я хотел, чтобы меня любили – мои личные неповторимые мозги и такие же, может, не менее неповторимые чресла!

Вот таким я был принципиальным сельдереем в тот момент, когда Стефани сказала:

– Ну, так ты будешь делать массаж?

– О'кей, – сказал я, наступив на горло собственной песне.

Стефани тряхнула своими курчавыми довольно коротко стриженными волосами и покорно вытянула шею в мою сторону. Я пододвинулся ближе – мы сидели на диване – и взял ее голову в руки. Она закрыла в глаза. Думаю, что ей помог бы и хороший поцелуй. Но я сдержался. Я знал несколько приемов массажа головы и добросовестно выполнил их.

– О, как хорошо! – вздохнула Стефани, не открывая глаз.

Я старался, чтобы мой массаж не походил на ласку, хотя было очевидно, что Стефани не стала бы возражать. Что, и у нее давно никого не было?! Что происходит, господа? Еще минуту назад я и в мыслях не держал столь стремительно воспользоваться этой странной аномалией. Англичанки – не американки: я глядел в глаза Стефани и не видел дна – но неужели и на сей раз мне ничего не останется кроме протоптанной дорожки? А кто говорил: мы пойдем другим путем?

Желание теснило меня снизу, но вот-вот должна была придти Дотти, и я держал себя в узде. Да, зря я давеча наехал на старика Миллера – никакой мужской доблести не прослеживалось и в моем варианте. Абыдно...

Стефани и вправду стало лучше – в глазах прибавилось света.

– Все, – твердо сказал я, убирая руки и застегиваясь на все расстегнувшиеся пуговицы, тем более что из кухни гостеприимно веяло диковинным ароматом овощного рагу.

Вообще-то рагу я не выношу и предпочитаю каждый овощ есть сырым и отдельно, но под вино было уже все равно. Нет, далеко не все равно, а более чем славно. Только многоожидаемая Дотти портила всю обедню.

Поговорили за Россию. В какой-то момент Стефани казалось, что мы нашли выход из тупика. Чечня ее отрезвила. Стефани же искала себя в Южной Африке. Да, для белых там рай, а для черных... Она врачевала в племенах. Ее там почитали как святую. Было довольно тяжело. Но она несла свой крест. Она многому научилась у черных. Она изучила их тайны, искусство знахарей, она дружила с колдунами и шаманами. Она проехала всю Южную Африку и узнала все, что можно было узнать. Но ей хотелось идти дальше. И вот она здесь.

А что дальше? – спросил я.

Дальше была религия, о которой я уже слышал от Крис. Смесь буддизма с христианством, медитация вместо молитвы. Самовозвышение через самопознание, оседлание собственной судьбы... Да, Бог есть, но он в тебе самом. Найди его. Освободи. И станешь как Бог.

– И ты можешь колдовать? – спросил я о том, что было мне понятней. Вино вместе с переперченным рагу гудело в моей крови.

– Не колдовать, а прорицать, – поправила она меня. – Я могу читать по рукам.

Если бы я был трезв, я бы еще подумал, а тут я сразу протянул ей свои руки:

– Почитай...

– Хорошо, – смиренно сказала Стефани, как бы чувствуя себя обязанной мне. Она сделала глубокий вдох, зажмурилась – лицо ее побледнело и приняло трагически-отрешенное выражение. Она взвесила свои руки над моими и помолчала.

– Ты читаешь не по линиям? – удивился я.

– Я читаю по энергетике, исходящей от рук, – ответила она не открывая глаз. – О, у тебя много энергии. По знаку ты ближе к Весам.

– Я и есть Весы.

– Много труда, – продолжала она. – Мало удачи. Ты привык полагаться на самого себя, но непрочь попользоваться и других. К цели идешь непоследовательно, часто отступаешь. Хотя со стороны этого не видно. Многие считают тебя баловнем судьбы, хотя это не так. Просто ты привык скрывать свои горести. Тебя любят женщины, хотя чувство комфорта, которое ты им даришь, обманчиво. Ты неустойчив, капризен, непостоянен. Колеблешься и веришь в то, что перевесило. Борешься со своим знаком. Я не вижу в тебе любви к материальным благам. Ты хочешь покоя. Ты любишь все прекрасное, любишь обольщать, нравиться, ты умен и практичен, но не умеешь говорить «нет», склонен испытывать комплекс вины, тебя гложет чувство зависти к преуспевающим друзьям и знакомым... Ты считаешь, что обойден судьбой.

Я почувствовал холодок под сердцем, и по спине у меня побежали мурашки.

– Может, хватит? – сказала Стефани, по-прежнему не открывая глаз. Похоже, ее мучило то, что она видит.

– Как насчет настоящего? – спросил я.

Стефани вздохнула, веки ее задрожали, будто она пыталась еще что-то разглядеть.

– Не знаю. Они ничего не говорят.

– Кто они?

– Кого я спрашиваю. Они молчат.

- А будущее?
- В будущем у тебя все хорошо. Ты будешь хорошо жить. Но еще нескоро.
- Я буду один?
- Нет, ты женишься.
- Кто она?
- Не знаю. Знаю только, что она русская.
- Русская?!
- Да, светлые волосы. Очень красивая.
- Можно еще вопрос?
- Последний.
- Я здоров?
- Вполне.

Стефани открыла глаза и сильно выдохнула:

- Уф! Давно этим не занималась. Отнимает много сил...
- Прости.
- Нет, ничего. Мне самой было интересно.

Она пошла на кухню и действительно подставила руки под струю воды.

Замок входной двери щелкнул и на пороге появилась женщина лет сорока, смуглая, круглолицая, тоже курчавая и босиком. Она была пьяней нас. На меня она смотрела одобрительно, словно что-то в моем роде и ожидала увидеть здесь в поздний час.

– Какой хороший мужчинка, – сказала Дотти. – Можно тебя обнять? – она подошла к дивану, я встал, и она прижалась ко мне. Но не явно и не грубо. Осторожно.

Дороти служила вместе со Стефани в гуманитарной конторе под громким названием «New Mind», выпускающей одноименный журнал. Они познакомились еще в Кейптануне – две боевые подруги, вместе проехавшие всю черную Африку. У Дороти была взрослая дочь, а с мужем она давно развелась.

При ее появлении Стефани ушла в тень, уступив лидерство. Но не из слабости, а просто потому что Дотти хотелось побыть первой.

Она очень хорошо говорила, она была весьма начитанной и знала все на свете. Поэтому ей жилось скучновато, и она нуждалось в небольших добавках марихуаны или чего-нибудь другого, легонького..

Пробовал ли я наркотики? Нет? Тогда самое время.

Я помотал головой и Стефани меня поддержала. Нам хватало и вина.

Вскоре Дотти ушла, еще раз обняв меня на прощание и послав прижавшимся на мгновение лбом нежный привет.

К тому времени вино кончилось, и я стал трезветь, – душа летала все ниже, задевая за крыши одноэтажных домов и ветки деревьев. Вопрос «что делать?» снова вставал на повестку ночи.

– Ты устал, – сказала Стефани, глянув на меня. – Ложись. Надеюсь, тут тебе будет удобно... – и она указала на наш диван.

Господи, что еще нужно человеку. Нежно урчал встроенный в стену нагреватель, рядом тихо тарахтел маленький кошак, пристроившийся у моего бедра.

– А Дотти не будет возражать? – спросил я, имея ввиду что-то другое, еще не совсем понятное мне самому.

Стефани усмехнулась:

– Она моя подруга.

Стефани ушла и вернулась с большим клетчатым покрывалом и парой простыней. Мне показалось, что она чего-то ждет.

Дружеского поцелуя на ночь?

Я подошел, взял ее за плечи и осторожно привлек к себе. Тихий благодарный друг. Европейец по духу и судьбе. Почти соратник. Я положил голову на ее доброе теплое плечо. Ее волосы щекотали мне щеку. Ее большое тело хорошо пахло и прижималось к моему спокойно и приветливо. Я поднял голову, чтобы найти ее маленький рот. Но она легко отстранилась. Как будто я просто неудачно пошутил.

– Ложись, ты устал, тебе надо отдохнуть.

Голос ее не предполагал вариантов.

Спал я плохо, но спокойно. Всю ночь по одеялу лазил маленький кошарик – как жизнь, которая не спит, даже когда ты из нее выпадаешь.

Солнечным утром перед работой мы заехали к Патриции – оказалось, что от нас до нее всего десять минут. Не скажу, что я этому обрадовался. Бледная прозрачная Патриция лежала в своей кладовке с кротким выражением маленькой больной девочки. Рядом с ней сидел Рон. На табуретке лежал пакетик гостинцев. Увидев меня, Рон заулыбался до ушей, но мне почудилось, что он сейчас издаст боевой крик и в страшном прыжке с разворотом ударит меня в горло железным каблуком. Впрочем, за мной тут же вошла Стефани и Рон встал и по-японски закланялся, прощаясь, – ему тоже надо было на работу. Мне это показалось странным, поскольку его машины перед домом не было.

По глазам Патриции я понял, что наконец-то она спокойна за меня – я попал в хорошие руки.

Стефани вызвалась облегчить ее страдания – поскольку нога заживала плохо и болела. Я сел в уголке, а Стефани, со знакомым сильным выдохом, взяла чужую боль на себя. Впечатлительная Патриция тут же заявила, что ей полегчало.

– Нужна ли тебе моя помощь, Триша? – сказал я.

– Нет-нет, – чуть ли не испугалась она. – Все хорошо. Обо мне заботится Рон. Приходит каждый день. Все приносит, – она потянулась ко мне, взяла за руку: – Знаешь, у него неприятности! Потерял работу. Машину разбил... На автобусе теперь ездит.

В глазах ее было сочувствие, но прозвучало это так, будто она одобряла происки кармы.

Наконец стали прощаться.

– Да, кстати, Петер, – слабым голосом больной девочки сказала Патриция, подождав, пока Стефани выйдет, – тут ко мне приезжала Сильвия, привезла твой заработок. Сто семьдесят долларов. Так что теперь ты мне почти ничего не должен, Петер.

Сглотнув, я благодарно кивнул.

* * *

Контора, в которой работала Стефани, занимала одноэтажное стеклянное зданище на краю сада, откуда до нашего дома было рукой подать.

– Привет, Гулливер, как дела? – встретил меня прокуренным баритоном какаду.

Неужто я и вправду маленький жалкий Гулливер в кармане этой великаньей страны?

Я попил чаю с тремя сотрудницами «Нового майнда». Присутствовавшая Дороти почему-то избегала смотреть на меня, как бы не узнавая. Интересное кино.

* * *

Мой распорядок определился.

Я просыпаюсь вместе с хозяйшками, тихо пережидая в углу, пока они помоются, выпьют кофе с тостами и помчатся на работу. Не стоит лишний раз мозолить глаза Дороти, которая действительно недовольна, что я еще здесь. Потом, уже не нахлебником, а хозяином дома, я выхожу на крыльцо, потягиваясь и вдыхая утренний еще стылый воздух, в котором к полудню оттаивают все запахи, наливаю молока кошаку, бросаю туда же парочку кусочков сыра, принимаю душ, ставлю на огонь натуральный молотый кофе – роскошь, от которой на днях придется отказаться по причине того, что в банке Дороти почти пусто, складываю в ровную кучку свое постельное белье и заваливаюсь на диван с какой-нибудь философской тряхомудией, которой забит дом.

В час Стефани возвращается на ланч, который я покупаю на наши с ней совместные гроши в китайском ресторанчике, а вечером после работы, если у нее нет занятий в школе, мы отправляемся в город – к ее друзьям или просто поболтать.

Нас принимают две красивые телки-лесбиянки, ушедшие от мужей и теперь живущие вместе как супруги. Они тоже имеют какое-то отношение к «Новому майнду». Много пьем. С пропитанной духами жгучей брюнеткой Юдит я веду долгий разговор насчет материала в журнале: десять интервью на тему, что дал русской бабе русский капитализм и что она ему дала. «Есть ли у вас перемены?» – горячо интересуется остывшая к нашему брату пышная Юдит, держа раскрытый банан чувственными пальцами перед чувственным ртом, что мешает мне сосредоточиться. «Есть, – встряхиваю я полупьяной головой, стараясь угодить, – проституция. В невиданных масштабах. Вразнос и навывнос».

Серый в яблоках дог, ужинавший вместе с нами, разлегся в знак расположения возле моих ног и беспардонно портит воздух. Юдит настораживается, нервно поводит ноздрей, но по первости не улавливает источник и, мужественно улыбаясь, продолжает нашу светскую беседу. Лишь на третий раз дог выдает себя пуком, и Юдит облегченно вздохнув, подносит к его задку горящую спичку:

– Фу, Булзи, как некрасиво...

Не знаю, как Булзи, а я все равно краснею.

Вино все не кончается. Я надираюсь под завязку и выхожу в садик, где мне предлагают освежиться в надувной джакузи. Может, пошутили, но я уже лезу в воду. Прохладно, ветер, небо в сумасшедших звездах. Вдали – огни Лос-Анджелеса. А вода теплая, бегут по телу горячие пузырьки. Или это пальцы Юдит, которая почему-то оказывается рядом со мной. Видит бог, я ее не звал.

По-моему, мы занимаемся сексом, однако помню только ее груди, прыгающие передо мной на воде рыбацкими шарами.

Потом едем со Стефани домой. Я протрезвел и молчу, как провинившийся школьник. Впрочем, совершенно напрасно. Ко мне никаких претензий.

Пора бы мне понять, кто такая Стефани.

* * *

В другой раз мы приезжаем к знаменитой журналистке, написавшей бестселлер на тему, как все вокруг примечательно сдвигается к знаку Водолея: экономика, политика, семья, бизнес, медицина, наука, сам человек и человеческий разум, высвобождающий себя для новых инвенций и интервенций в область незнаемого. Фантастическая осведомленность, тысячи имен и цитат. Национальная премия. Переводы на десяток языков. И как результат – дом, в котором нас принимают. Куплен на заработанные денежки. Двухэтажный холл, где я сижу за столом напротив этой неистовой накопительницы фактов. Она вся в черном, лет сорока пяти, железная как хирург и логичная как скальпель. Мужские мозги. Ко мне снисходительно-равнодушна. Это Стефани, которая служит у нее помощницей-секретаршей, попросила о короткой встрече с питерским журналистом.

Оказывается, европейские языки рвут на части наше сознание, лишая гармонии и целостности мироощущения.

Кто бы мог подумать!

Увы, от авторессы не ускользает мое шалопайство. Видимо, полагала, что заикающийся от восхищения посланец страны вечных снегов робко спросит у нее рецепт, как их растопить. Потом появляется муж, типичный трутень, с деревянной коробкой, в которой по желобу туда-сюда с гулом катаются шарики.

Повисает пауза, и я понимаю, что нам пора сваливать.

– Пойдем, покажу тебе вид на Лос-Анджелес! – выручает Стефани и, взяв за руку, как завсегдатай этого дома тянет куда-то вверх. Нет, мы ведем себя совершенно несообразно с нашим крошечным статусом.

Внизу, на оранжевом закате стоят в кучку несколько темных небоскребов, как судьи в мантиях.

* * *

Через три дня Стефани объявляют, что она больше не секретарша. Итак, минус тысяча долларов. Стефани кусает губы, чуть не плачет. Я, как могу, пытаюсь ее успокоить. Увы, даже прорицательницы не знают своей судьбы.

Зато я знаю. Поскольку виноват.

Жизнь продолжается, но деньги кончились. В садике я подбираю несколько маленьких лимонов, упавших с лимонного деревца. Вполне съедобные. Но кофе у Дороти в банке больше нет. Стефани жалуется, что та совсем скурвилась. Естественно, из-за меня. Если он здесь живет, пусть платит. Интересно, чем платить.

Переспать с ней?

– А тебе хочется? – читает мои мысли Стефани.

– Нет, – отвечаю я.

– Вообще-то у нас с ней был однажды секс втроем, – вдруг вспоминает она, глядя в сторону, как бы нехотя опускаясь на миг до себя прежней. – С мужчиной...

– Лучше продать одну почку, – бормочу я. – Двадцать пять тысяч долларов...

Дальше – хуже. Вечером – скандал на кухне, пока я спускаю на дорогу черный пластиковый мешок с мусором. К моему возвращению – тяжелое молчание. Вызывающе громкая музыка за захлопнутой дверью Дороти. Заплаканные глаза Стефани.

Сижу на крыльце, курю, глядя во тьму. Кто-то копошится под палой листвой, упорно роет землю.

Может, умереть? Больше не надо будет есть, зарабатывать, надеяться на что-то, да и вопрос с жильем решится сам собой.

В воскресенье едем со Стефани на мессу в знакомую Новую церковь. Меня вдруг начинает колотить дрожь. Ну да, понятно, из-за Кристины... Последнее время я только о ней и думаю. Однако непонятно, почему я так волнуюсь. На стоянке узнаю ее серебристый «линкольн». Говорю Стефани, что лучше пока погуляю на ветерке.

– Ты что, не пойдешь? – слегка удивлена она.

– Я еще не готов.

Она кивает – для нее такие вещи не пустой звук.

Солнце, птицы поют. Из раскрытой двери слышен органчик и нестройных хор прихожан. Надо радоваться каждому цветочку, каждому ручейку. На светло-охристой стене церкви качается тень пальмы, похожая на водопад. Нет, это мое сердце куда-то падает.

Наконец просветленная паства начинает вытекать на крыльцо и я, не выдержав, сажусь в машину. Мне кажется, что вот-вот я увижу Крис. Но все ее нет. Может, там не ее «линкольн»?

Появляется Стефани, и мы наконец уезжаем.

– Тебе привет от Каролины, – говорит она. – Спрашивала про тебя.

– Спасибо, – отвечаю. – Где она сама теперь живет?

– Там же, у Кристины Тилни.

Я хочу спросить, была ли в церкви Кристина, но рот мой не открывается.

* * *

И снова утро. Дотти почему-то вдруг подобрела. Не закрыла на ключ свою комнату – а в ней телевизор. Заходи, Петер, – смотри. Показывают Парад Роз в Пасадене. Колесницы в цветах. На одной – настоящий мини-бассейн. Пара загорелых идиотов в плавках поочередно сигают в него с искусственной пальмы. А я сон видел. Зима в моем городе Питере. Тихо падают маленькие серебристые снежинки. Сенная площадь. Масленица. Мужик на гармошке играет. Праздничная толпа. Говорят по-русски. И у меня от этой клюквы слезы на глазах...

Вышел на крыльцо – вдыхаю горчащий воздух. Слышу, звонит телефон – возвращаюсь, снимаю трубку, по-русски говорю «алло», чтобы не задавали мне лишних сложных вопросов, но в трубке молчание, а потом гудки. Сделал себе растворимый кофе – спер вчера в очередных гостях одноразовый пакетик. Сижу на крыльце, жадно прихлебываю, отгоняя от губы корочку доморощенного лимона. Рядом уселся кошарик – задрав веслом ногу, вылизывает себе что-то. До сих пор никто точно не знает, он это или она. Слышу, как внизу, на нашей улице остановилась машина, тихо хлопнула дверца, кто-то поднимается по нашим ступенькам. Кроме Дороти или Стефани больше некому. Готовлю шутливую рабскую фразу, типа «давненько не виделись», вытягиваю шею и вижу... Вижу Крис. Она поднимается навстречу и лицо у нее такое, будто сейчас упадет в обморок. Я медленно встаю с чашкой в руке...

– Здравствуй, Петр, – говорит Крис, – рада тебя видеть.

– Здравствуй, Крис, – говорю. – Я тоже рад.

– Ты один?

– Да, – говорю. – Стефани на работе. И Дороти.

– Дороти?

– Ее подруга. Они тут вместе живут.

– Можно войти?

– Конечно, – говорю я.

Крис сама открывает дверь, входит. Я следом. Поставил чашку на стол. Стою и жду. Или просто стою. И не жду.

– Я пришла... – говорит Крис, и трет руки, будто они у нее замерзли. – Я пришла, чтобы сказать... Чтобы извиниться... Нет, не извиниться... – она с мольбой смотрит на меня, чтобы я помог ей закончить фразу, или чтобы ей не надо было заканчивать.

Меня бросает в жар, а потом в холод, и вдруг я начинаю видеть то, что еще минуту назад не видел никогда. Я вдруг вижу, как просто и понятно устроен мир – он держится на человеческой приязни, сердечном тепле и участии в жизни друг друга. Как я мог прожить столько лет и не понимать этого. Потом я вижу самого себя, все свои жалкие озлобленные мысли, которые, как бесы, облепили меня и таскают туда-сюда без цели и продыха...

– Крис, – тихо говорю я, будто очнувшись после тяжелого безумия, бреда, болезни. – Крис, я ждал тебя.

Со стоном, КАК ТОГДА, она вскидывает руки, делает шаг, и ее губы слепо тычутся в мое лицо, глаза, волосы, шею, будто хотят вылепить меня из поцелуев. Она смеется, плачет, пытается поцеловать мне руки, и расстегивает пуговицы рубашки на мне.

– Пожалуйста, Петр, пожалуйста...

Я обнимаю ее за плечи, я хочу отнести ее на диван.

– Нет, Петр, – говорит она, опускаясь на пол и увлекая меня за собой.

– Иди ко мне, иди ко мне, – приподняв голову, твердит она как безумная, борясь одной рукой с трусиками под поднятой шелковой юбкой.

Счастье – это такая сильная боль. Когда так высоко, что ... Нет, надо спуститься, чтобы... Нет, надо, чтобы... Мои руки находят ее груди, берут их как два драгоценных дара – это половинки земли, на которой я жил, ее раскололо одним ударом и я, лишившись опоры, лечу в пространстве. Нет, они со мной – в них тепло и покой. Они прижимали меня к себе, когда я плакал по ночам, к ним прикипал я, когда был голоден, я помню их млечный вкус и свой детский сон рядом с ними. Они вскормили меня, и вот я вернулся к ним. Теперь мне ничто не страшно. Я освобождаюсь от последней преграды и погружаюсь туда, откуда меня когда-то, наложив на голову щипцы, безжалостно вытащили на этот свет. Я снова ТАМ. Я еще не родился. Я закрываю глаза.

* * *

Но, оказывается, не навсегда.

Ля-соль, ля-соль, – слышатся две ноты над моей головой.

Что это я, спал? Кристина сидит рядом на полу, опершись на локоть. Тихонько издали зовет меня: Пе-тя, Пе-тя.

Я провожу рукой по своему лицу. Я чувствую слабость, мне не подняться.

– Петя, мне надо идти. Прости меня, Петя. Я приеду к тебе завтра, в это же время. Собери вещи. Не спрашивай ни о чем. Завтра, в это же время.

Я лежу и смотрю, как она выходит, тихо прикрывая за собой дверь.

Кошак, задрав хвост, успевает проскочить следом.

Вечером Стефани говорит, что что-то беспокоит ее в нашем доме, чья-то заблудшая тень, какой-то дух, мытарь.

– Я должна встретиться с ним, Пьетр. Ты мне поможешь?

Я киваю, хотя мурашки бегут у меня по спине.

– Ты вернешь меня, если что, – говорит она. – Это важно. Одной можно зайти слишком далеко...

Я не рискую спросить, что значит «слишком». Будь, что будет. Я жду развязки.

Мы сели в гостиной, взялись за руки, Стефани велела мне закрыть глаза и сильно выдохнуть. Я почувствовал, что опускаюсь вместе с ней.

– Он здесь, – услышал я ее голос.

– Кто? – спросил я, не открывая глаз и ничего не видя.

– Какой-то человек. Мужчина. Ему больно. Спроси его.

– Что спросить?

– Что он здесь делает.

– Что ты здесь делаешь? – с угрозой сказал я.

– Нет, так нельзя. Не пугай его. Он не виноват.

– Что ты здесь делаешь? – мягко повторил я и сжал руку Стефани. – Ты видишь его?

– Да, он стоит рядом. Спина ко мне. Держи меня крепче. Я попробую...

Рука Стефани затрепетала и я почувствовал страшную тяжесть, будто мне привязали к кисти гирю.

– Держи, – повторила она и замолчала.

– У вас все хорошо, – через мгновение снова услышал я ее тихий голос. – У вас будет все хорошо. Идите с Богом. И простите нас. Прощайте.

– Все, Пьетр, – услышал я. – Вдохни и открой глаза. И не отпускай мою руку.

Я увидел перед собой бледное отрешенное лицо Стефани. Она подняла веки – ее глаза целое мгновение не узнавали меня, а потом узнали.

– Спасибо, – улыбнулась она.

И я не посмел спросить – за что.

А ночью, лежа без сна, понял – это был я. Вернее, мое второе я, Там, в преисподней. Она отпустила мне мои грехи.

* * *

В одиннадцать утра внизу взвизгнули тормоза, хлопнула дверца и я услышал легкий бег по ступенькам.

Кристина. Она была в белом и светилась.

– Поехали! – радостно обняла меня. – Где твоя сумка? Черная с синей полосой. Видишь, я помню ее.

Я сел рядом и поехал, оставив кошака в доме, а ключ под крыльцом.

Мы взвились по дороге серпантином чуть ли не на самый хребет Сан-Габриэл и остановились. Далеко внизу лежала узкая голубая лужица озера. К нему почти отвесно спускались скалы. Вокруг – ни души. Воздух над вершинами гор вибрировал – будто от полноты жизни. Хотелось крикнуть – чтобы эхо летело над ущельями и каньонами и не смолкало.

– Здесь нам никто не помешает, – сказала Кристина, выключая двигатель. – У нас есть полчаса.

Она порывисто повернулась ко мне и взяла мои руки в свои:

– Прости, Петр, я вчера просто не могла с собой справиться. Я ведь думала, что ты уехал навсегда и больше не вернешься. И вдруг узнаю от Каролины, что ты здесь. Зачем она это скрывала? Не знаю, как я продержалась до вчерашнего дня. Когда ты ушел в то утро, все изменилось. Как будто я живу теперь не свою жизнь. Как будто моя жизнь зависит от того, где ты и что с тобой. Потому что я все время думаю о тебе. О тебе, о нас, как если бы мы были вместе. Не бойся сказать «нет», Петр, если ты хочешь сказать «нет». Я пойму, и все образуется. Но если... – и Крис посмотрела на меня таким взглядом, каким никогда в жизни никто на меня не смотрел. Наверное, я сам так буду смотреть в Чистилище на Архангела с весами в одной руке и карающим мечом в другой.

Я молча потянулся к ней, и все повторилось. Кроме моей слабости.

– Господи, мне тридцать восемь лет, – говорила она потом, расчесывая волосы, – а я только начинаю жить. Я даже старше тебя, Петр. Я не сошла с ума?

* * *

Вечером она позвонила мне в дом своих друзей, куда перевезла жить. Хозяева уехали на месяц к родителям в Юту – оставили ей ключи. Дом – на горе. Внизу – Лос-Анджелес, а выше только вершины Сан-Габриэла.

– Как ты там? – звучал ее голос, наполняя музыкой тепла холодную белую ракушку телефонной трубки. – Видишь оттуда Хантингтон-Бич? Выйди, посмотри. Я сейчас тоже выйду. Я почувствую твой взгляд. О, как я хочу быть рядом с тобой.

Я вышел и впился глазами в дальнюю линию огней, обрезанную тьмой океана. Между нами было километров двадцать, но я был уверен, что вижу Крис. Она стояла на цыпочках, подняв руку, чтобы я ее узнал.

* * *

Фрэнк был ее вторым мужем – первый раз она вышла замуж еще малоопытной девчонкой, за кубинского эмигранта. От него она родила мальчика, но ребенок не прожил и года. В юности ей хотелось переделать мир и Че Гевара был ее кумиром. Потом она поняла, что мир не изменить, пока не изменится сам человек. К своей новой вере она пришла благодаря Фрэнку. Он много в жизни испытал. Она любила его, но никогда не была счастлива с ним как женщина. Она вообще никогда не была счастлива в любви. Она считала, что это ей просто не дано. И вот теперь...

– Петр, мы можем быть вместе, если только ты этого хочешь. Здесь или в России. Я могу поехать с тобой. Я уже выясняла. Я могу заключить контракт на год и читать лекции у вас в университете или еще где-нибудь. Скажи, что ты об этом думаешь?

* * *

В Мексике у нее жили младшие брат и сестра. Родители умерли. Впрочем, они были в разводе. Отец был веселый, эксцентричный, неутомимый – всю жизнь перебирался с места на место. Крис вспоминала, как однажды они всей семьей накануне Рождества отправились в супермаркет за подарками. Отец увидел на витрине настоящие наручники и попросил их у продавца, хотя они не продавались, а висели для интерьера. Он защелкнул их на себе, проверяя, действуют ли. Пригрозил детям, что теперь за плохие отметки в школе будет приковывать к письменному столу. Все посмеялись, включая продавца. Потом оказалось, что к наручникам нет ключа и их не открыть. Собрались все продавцы, а потом все руководство магазина, включая технический персонал – электрика, водопроводчика и пожарника. Никакого результата. Отца повели в кабинет директора, чтобы вызывать кого-нибудь из полиции. Он – в наручниках. За ним целая толпа. Многие решили, что это поймали вора.

У директора отца угостили виски с содовой, чтобы он не волновался, а их – кока-колой. Приехавшая полиция поначалу не разобралась и хотела вправду арестовать его. Потом действительно пришлось отправиться в участок, потому что наручники все не открывались. Это была какая-то старая, вышедшая из употребления модель.

В наручниках отца увезли домой. Сказали, что пришлют специалиста. Машину вела мама и всю дорогу ругала отца. Она уже устала от его выходок....

Потом из полиции позвонили – никого не могут найти. Так отец и встречал Рождество в наручниках. Мама плакала. У нее еще никогда не было такого Рождества. Потом уже после Рождества специалист все-таки нашелся, приехал, и в один миг наручники распались. Оказалось, что он русский. Отец еще со Второй мировой войны знал несколько русских слов.

Кристина помнит, как что-то тогда перевернулось в ней.

– Ага, – сказал я, – а теперь явился я, чтобы снять с тебя твои наручники.

– Да, – засмеялась она, – Ты правильно понял эту историю. Только все-таки будет лучше, если ты отдашь мне ключи.

Когда мы лежали, она поднялась надо мной, провела пальцем по моим бровям, губам:

– Знаешь, я себя не узнаю.

– Почему?

– Я не хочу, чтобы ты отдавал ключи. Пусть они будут у тебя.

Мы договорились, что Фрэнк пока ничего не узнает – чтобы мы могли беспрепятственно встречаться оставшееся время. Мы договорились, что она ему скажет, когда я уеду. Скажет, оформит документы и прилетит ко мне. Или же пригласит – в зависимости от того, что быстрее. Я не заикался о том, чтобы каким-то образом остаться здесь. Получалось, надо расстаться, чтобы быть вместе. К тому же, чувство было таким полным и острым, что хотелось убежать от него, оставить на потом, зарыть как клад до лучших – НАШИХ – времен.

Господи, что такое любовь? Крошечный сверкающий бриллиантик, брошенный на огромную чашу весов, а на другой чаше – вся жизнь Кристины, прожитая без меня, ее первый брак и жизнь ее отца, и Фрэнк, и Новая церковь, и вся Америка с голубыми зеркальными стенами банков, по которым плывут отраженные облака.

Она приезжала ко мне утром или вечером, выкраивая время тут и там, и мы раздевались, ложились в неутолимой жажде ежесекундной близости. Или просто лежали вместе – лишь бы касаться друг друга.

Мы никуда не ходили, не ездили. Зачем? Только однажды Крис отвезла меня на улицу «Монастырские сады» к очень пожилой художнице Джин Майлз, с которой дружила. Ей очень хотелось нас познакомить.

...Джин копошится на кухне, маленькая, деловитая – готовит нам специальный салат. Огромный нож в ее маленькой руке не очень уверенно сражается с огромным калифорнийским овощем.

– Я люблю здесь бывать, – шепчет мне Крис, с любовью оглядываясь по сторонам, – здесь как у меня в детстве.

Дом в испанском колониальном стиле – с арками, росписями, витражами в окнах.

Джин снимает передник и садится вместе с нами за стол. Ей восемьдесят четыре года, но взгляд ее ясен, женственен, она полна идей и планов на будущее. Уже многие годы она пишет только мандалы – магические формулы души, мира и вселенной. Углубляясь в созерцание мандалы, человек испытывает космическое расширение собственного «я». Так преодолевается тлен и земное страдание, так обретается благодать.

– Да, я ведь хотела показать вам русскую церковь, – говорит Джин, порывисто вставая из-за стола. – Ее видно отсюда. Жаль, что уже стемнело.

Мы выходим на просторную лоджию, и за полукругом арки распахивается тихо пронизанное вкрадчивым дождем темное пространство, высвеченное вдали сверкающими хрусталиками небоскребов. Потом из тьмы выступают верхушки деревьев, по слабо освещенной наружным светом стене дома стелется какое-то вечнозеленое растение, усеянное цветами вроде наших мальв, и их слабый осенний запах, смешанный с запахом чуть смоченной тонкой пыли на листьях, вдруг больно отзывается в сердце...

Потом Джин стоит в слабо освещенном портике, словно благословляя нас на долгое совместное странствие, а по саду уже пробегает дробный перестук тяжелых капель, предвещающая ливень. Их подсвеченные фонарями серебряные тела падают из поднебесной тьмы.

– Дождь! – жадно вдыхает Кристина. – Как я люблю дождь!

И тут он обрушивается всей силой.

Улочка «Монастырские сады» едва освещена. Кристина включает фары – теперь видно, как по водостокам, упруго перекручиваясь, несется мутный ручей. Мы выезжаем на хайвей и включаемся в бешеную гонку автомашин, каждая из которых летит в хрустальном шаре брызг, мигая сквозь них мокрыми красно-оранжевыми огнями. Дворники работают как бешеные, но дорогу видно только короткое мгновение после каждого взмаха – будто открываешь и закрываешь глаза.

Но что это – впереди словно дышит, колыхается тяжелыми складками огромный занавес – на всем ходу мы ударяемся в него, машина вздрагивает и заметно сбавляет ход. Такого ливня я еще не видел.

Мы прорезаем его и внезапно оказываемся в омытой влажной сверкающей тьме – с чистым небом над головой, в котором проклюнулись первые звезды.

Как будто прорыв туда, где нам уже никто и ничто не сможет помешать.

* * *

– Я хочу, чтобы у нас был ребенок, – говорит она, когда мы снова вместе в тихом доме ее друзей, где за весь день не раздастся ни телефонного звонка, ни звука машины за окном – только

мягкие толчки ветра в стену, да переклики птиц. Далеко внизу – залитый солнцем утренний Лос-Анджелес. Осталось шесть дней.

– Давай съездим с тобой в Тихуану, – говорит она в другой раз. – Это уже Мексика. Там никто не будет проверять твой паспорт. Мне так хочется, чтобы ты увидел эту страну. Я там родилась. Она ближе к России, чем Америка.

Однако для этого нужно хотя бы два свободных дня, которых у нее нет.

* * *

Я вижу, что ей вся тяжелее дается неведение Фрэнка:

– Хочешь, я сам позвоню ему и скажу.

– Нет, что ты, – качает она головой. – Ты его не знаешь. Он не станет тебя слушать. Только я...

Она похудела за эти дни и под глазами резче обозначились морщинки. Почти перестала смеяться. Хотя наши объятия так же пылки, мы, похоже, ждем расставания, как два влюбленных по разные стороны вагонного окна. Чтобы наконец поезд тронулся с места, и оставил каждого наедине с собственной болью.

По-моему, мы чего-то боимся.

В то утро мы опять поехали в горы к пропасти с узким, как ножевой разрез, озерцом на дне. Крис любила высоту, простор, полет. Глядя в стекло на освещенные солнцем вершины, тихо сказала:

– Фрэнк все знает. Он принял, как есть. Он отпускает меня. Ему очень больно, Петр. Даже сейчас я чувствую это. Мы с ним были очень близки. Я боюсь за него. Он не я – он очень одинокий человек. И очень прямой и гордый.

Потом она сказала:

– Сегодня я останусь у тебя Петр. Ведь завтра ты улетаешь.

Молча мы вернулись домой. И стали ждать. Неизвестно чего. Я видел, что она не находит себе места.

– Позвони ему.

Она послушно кивнула и набрала номер телефона.

Фрэнк не стал с ней разговаривать.

Вечером он позвонил сам.

Крис хотела, чтобы я взял параллельный телефон, – ей было бы легче, но я помотал головой.

Она действительно осталась со мной, а утром отвезла меня в аэропорт. Сказала, что в ближайшие дни позвонит.

* * *

С тех пор прошло почти пять лет.

Она не позвонила.

Я искал ее через знакомых и адресные бюро в Америке, потом в Мексике, но узнал только то, что она развелась с Фрэнком и уехала из Лос-Анджелеса. Куда – неизвестно. Кристину Тилни, родившуюся в городе Мехико в 1954 году, не нашли.

Моя последняя надежда – что у нас сын или дочка. И что рано или поздно – пусть через десять, через пятнадцать лет – раздастся звонок, которого я жду.

1 ноября 1997 г.

Санкт-Петербург